



ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

ВАЛЕРИЙ ЯЗВИЦКИЙ

КНЯЖИЧ
СОПРАВТЕЛЪ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
МОСКОВСКИЙ

РБ

Библиотека проекта «История Российского государства»

Валерий Язвицкий

**Княжич. Соправитель.
Великий князь Московский**

«Издательство АСТ»

1953

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Язвицкий В. И.

Княжич. Соправитель. Великий князь Московский /
В. И. Язвицкий — «Издательство АСТ», 1953 — (Библиотека
проекта «История Российского государства»)

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны от самых ее истоков. Легендарный роман «Иван III – государь всея Руси» освещает важнейшие события в формировании русского государства: свержение татаро-монгольского ига, собирание русских земель, преодоление княжеских распрей. Иван III – дед знаменитого Ивана Грозного. Этот незаурядный политический деятель, который сделал значительно больше важных политических преобразований, чем его знаменитый внук, все же был незаслуженно забыт своими потомками. Книга В. Язвицкого представляет нам государя Ивана III во всем блеске его политической славы. В данный том вошли книга первая «Княжич», книга вторая «Соправитель», книга третья «Великий князь Московский».

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Язвицкий В. И., 1953
© Издательство АСТ, 1953

Содержание

Книга первая	6
Глава 1	6
Глава 2	20
Глава 3	29
Глава 4	41
Глава 5	48
Глава 6	58
Глава 7	67
Глава 8	73
Глава 9	80
Глава 10	91
Глава 11	96
Глава 12	101
Глава 13	109
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Валерий Язвицкий
Княжич. Соправитель.
Великий князь Московский

© В. Akunin, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Посвящаю этот труд жене моей Варваре Алексеевне Язвицкой

Книга первая Княжич

Глава 1 В Московском Кремле

Вскричала жалобно во сне и сразу же проснулась княгиня Марья Ярославна. Страшно ей, а что привиделось, не помнит. Тоской, духотой томит ее, а кругом-то тьма еще темная. Словно шапкой накрыла Москву знойная летняя ночь, будто придушила. Тишина мертвая, а по всему Кремлю то ближе, то дальше как-то нехорошо петухи перекликаются особым ночным криком. Хочет княгиня соскочить со скамьи, пробежать скорее в сенцы, разбудить девку Дуняху, да ноги нейдут – ослабли с испугу...

Вдруг где-то близко как взвояет по-волчьи собака, словно, окаянная, смерть почуяла. Спрыгнула с постели княгиня, откуда и силы взялись, спешит все сделать как полагается.

– На свою голову вой, на свою, не на княжие хоромы, – быстро шепчет она заговор и торопливо переставляет свои башмаки к самому порогу, пятками к двери.

Собака завела еще протяжней и враз смолкла, а со двора все так же страшно глядит глухая июльская ночь, и четырехугольные листочки слюды, как злые глаза, чернеют в косячатых окнах. Темно еще в душных покоях, лишь в переднем углу, у кивота с иконами, разливается тихий свет и дрожит кроткое сиянье. Алые и синие лампы, мигая огоньками и чадя деревянным маслом, бросают разноцветные пятна на гладкие стены из дубовых тесаных бревен, обитые сукном-багрецом, завешанные всяким узорочьем, и на пестрые ковры, застилающие весь пол опочивальни. Перебегая от огоньков ламп, играют райки на самоцветных камнях золотых венцов и окладов, и всё тут спокойно, тихо и дивно...

Вдруг полыхнуло в окна огнем и, четко обозначив на миг свинцовые переплеты рам, совсем ослепило. Грянул гром, тяжело прокатившись по небу.

Марья Ярославна вздрогнула и поспешно закрестилась, шурша шелком сорочки.

– Пресвятая Богородица, заступница наша, спаси и помилуй, – привычно зашептали губы, и вдруг ей припомнилось, о чем днем и ночью молилась, с тех пор как великий князь пошел к Суздалю на Улу-Махмета.

Пала княгиня ниц пред иконами.

– Побей, Боже, – молит Ярославна в слезах, – побей Махмета царя, защити от злого татаровья. Помилуй князя Василья и все христианство. Ради младенцев моих Ивана да Юрья спаси, Господи, раба Твоего Василья...

Долго билась и плакала она на полу пред кивотом, и легче ей стало после слез и молитвы. Да и быстро летняя ночь побелела, побелели и в окнах слюдяные листочки. Встала с колен княгиня и со слезами еще на больших темных глазах побрела босая тихонько через крытые сенцы в хоромы княжичей.

Прислушалась, отворила дверь осторожно в покои, чтоб не скрипнуть, и в щелочку у косяка подглядела: спят ее оба сыночка под храп мамки Ульяны, ни заботы, ни горя не ведают.

– Да и что им знать-то? Ивану шестой, а Юрию и четырех еще годиков нету...

Перекрестила их через дверь и, сразу сомлев ото сна, еле дошла до своей опочивальни. Позевывая и крестя рот частым крестом, чтобы не влетела нечистая сила, оправила она постель на скамье и легла. Слышит – у Спаса-на-бору, что рядом на великокняжьем дворе стоит, сторож Илейка часы бьет, но тяжелые веки сами смыкаются, путается все в голове у княгини, и, не досчитав часов, заснула она на третьем ударе.

Второй раз проснулась княгиня от громкого воркованья голубей над окнами – гнезда у них там за резными наличниками. День уже занялся, совсем рассвело. Раннее солнышко червонно-золотыми стрелами бьет сквозь слюду в самый потолок, и словно все смеется кругом от радости. Вот и коровы замычали, пастух в рожок заиграл.

– Ой, заспалась! – вскрикнула княгиня испуганно.

Наскоро перекрестясь на образа, выскочила она в сенцы, разбудила Дуняху и заплескалась у рукомойника. Не успела умыться, а Дуняха уже тут с шитым шелками утиральником.

– Чтой-то, государыня, ныне ты так ранехонько встала? – говорила курносая толстогубая девка, лениво почесываясь и потягиваясь.

– Суббота сегодня, Дуняха, али забыла? В подклетьях Федотовна с Варюхой мыльню, поди, уж топят, да и в крестовую¹ поспевать надо.

Осердится Софья Витовтовна...

– Верно, государыня, строга у тебя свекровь-то. Грозно блюдет молебные, да только зря ты всполошилась – солнце-то у самого края земли еще. Успеешь. Охо-хо! Рот-то мне от зевоты свернуло. Спозаранку ты поднялась, али что худое привиделось? Ведь и гребта у тебя на душе великая.

– Тому не гребтится, кто Бога не боится. Ночесь сон страшный видела, да с испугу забыла какой, а тут еще пес так жалобно взвыл...

– Ой, страсти! Покойников чует пес-то, бьются наши с погаными...²

– Только успела яз вовремя заклятье наложить – башмаки к порогу переставить.

– Ну, слава богу! Отвела ты горюшко, а то, как ведаешь, и мои братья с великокняжым двором под Суждалем...

Утираясь полотенцем, прошла в опочивальню княгиня и начала обряжаться к молитве.

– Ну, Дуняха, убирай голову мне поскорее, – приказала она по-хозяйски и сбросила ночную повязку.

Глаза у княгини стали строгими, как пижут на иконах, и сурово, почти неподвижно смотрели из-под крутых бровей куда-то вдаль, будто за стены хором. Заробев от этого взгляда, Дуняха молча расчесала ей густые русые волосы, заплела на две косы, туго стянув их, чтобы плотней улеглись под шелковым волосником с жемчужной поднизью, чтобы к сраму и к греху великому ни одна прядь из-под него случайно не выбилась.

Тщательно ощупав края волосника, Марья Ярославна осталась довольна Дуняхой.

– Ладнушко! – ласково усмехнулась она. – Не дай бог бабе опростоволоситься!

– Каку рубаху-то давать? – сразу повеселев, спросила Дуняха. – Белу, алу ин изволишь желту?

– Алюю хочу сегодня.

Дуняха достала из сундука шелковую рубаху с пристегнутыми к рукавам запястьями, развертывая, как всегда, дивовалась:

– Запястья-то – одно загляденье! Шитье золотое так узорно, а жемчуг крупной да красно³ так насажен!

Усадив княгиню на резной столец,⁴ Дуняха надела ей желтые сафьяновые чулки-ноговицы с золотым и жемчужным шитьем, обула в такие же нарядные алые башмаки на серебряных подковах.

¹ Крестовая – домовая церковь.

² Поганные – церковное слово, вошедшее в быт и означавшее в старину: неверные, нечестивые, безбожные, некрещенные, а также христиане-иноверцы, еретики.

³ Красно – красиво.

⁴ Столец – табурет.

Поверх рубахи Марья Ярославна велела накинуть цветистый шелковый летник⁵ с длинными, до пят, рукавами, расшитыми золотом, с жемчужной обнизью. Широкая парчовая лента с золотой тесьмой обегала вокруг всего летника у подола и спереди взбиралась вдоль застежек каждой полы к самому горлу.

Дуняха застегнула летник на все кованые из серебра пуговицы и повязала княгиню поверх волосника белым головным убрисом с золотым шитьем на концах.

– Ну и баска же ты, государыня Марья Ярославна! – всплеснула руками Дуняха. – Токмо вот ожерелье надеть да серьги самоцветные...

Княгиня весело рассмеялась и, выставив рукава летника, а из-под них запястья алой рубахи в прорези позади рукавов опашня, воскликнула:

– Ах, люблю яз алый цвет, Дуняха! И как нарядно выходит: опашень весь рудо-желтый, а сверху рукава, а снизу башмаки – алые!..

Затопали легко и часто в сенцах детские ноги, распахнулась дверь опочивальни, и оба сына княгини Марьи Ярославны вбежали к ней уже умытые и одетые, в желтых вышитых рубахах с серебряными поясами и в синих порточках, заправленных в сафьяновые сапожки.

Мамка Ульяна в парчовой шубейке и в парчовом волоснике, еле поспевая за княжичами, крикнула им с порога:

– Перекреститесь раньше на образа-то!

Мальчики послушно закрестились, но тотчас же, смеясь и подпрыгивая, подбежали от кивота к матери. Мамка Ульяна насупила брови. Не нравились ей эти вольности, все же круглое и морщинистое лицо ее улыбалось, а серые, совсем прозрачные глаза лукаво смеялись, поглядывая на княжичей.

– Матунька, – ласкался Иван к матери, – дай щечки твои поцелую, пока не набелила их Ульянушка...

– А и то, Ульянушка, начинай, – заторопилась Марья Ярославна, обнимая и целуя детей, – хлопот-то тебе со мной надолго...

– Ну, свет мой Ярославна, у меня всё скоричко! На язык я – скороговорка, на руку – скорodelка: лысый не успеет кудри расчесать, а я уж все снарядила...

Дуняха, завязывая на затылке свой девичий венец, приснула со смеху.

Засмеялась и княгиня, а за ней и дети.

– Щеки набелю, нарумяню, – продолжала Ульяна, доставая горшочки с притираниями, – брови сурьмой подведу, сурьмой подведу да потом...

Визг поросят и громкое гоготанье гусей на дворе заглушили ее голос.

Внизу, у самых подклетей княгининых хором, где хлебный, сытный, кормовой и житный дворы, а также скотный, птичий, поднялся сплошной шум и говор, как на торге. Иногда только можно разобрать сквозь гом и гул, как, отворяясь, скрипят ворота, звякает цепью ведро у колодца, залихватно ржут лошади, кричат и ругаются люди...

Княжич Иван подбежал к окну и, отвернув суконный налавочник, вскочил на пристенную лавку. Быстро, со стуком поднял он окно, спугнув наверху голубей, громко захлопавших крыльями, и просунул голову наружу.

Солнце поднялось уже до самых крыш, прямо в глаза светит, блестит на крестах у Михаила-архангела, Успенья-Богородицы, Ивана-лествичника и Чудова монастыря, золотит каменные кремлевские стены с бойницами и с башнями-стрельнями. Ярко сверкает слюда в окнах горниц и светлиц второго яруса боярских хором, и еще ярче горят окна на третьем ярусе у теремов, вышек и светлиц, окруженных расписными гульбищами⁶ с перилами и решетками.

⁵ Летник – женская одежда.

⁶ Гульбище – балконы и проходы между ними.

У иных хором на самых кровлях построены башенки-смотрильни с вертящимися по ветру золочеными петушками и рыбками, жаром пылающими теперь на восходе солнца.

Румяное утро начинает тихий и жаркий день. Розовый дым медленно выползает из деревянных дымниц над тесовыми крышами и прямыми столбами подымается в небо. Хоромы стоят среди садов и огородов то кучами, образуя узенькие улочки и переулочки, то в одиночку, словно крепости, огороженные деревянным тыном из бревен. Около них и среди пустырей и оврагов кое-где разбросаны как попало курные избы княжой и боярской челяди: холопов и вольных слуг всякого рода. Избы топят по-черному, и густой дым, клубящийся тучами, окутывает их крыши, выбиваясь со всех сторон через волоковые окна, черный и багряный от зари.

Знает Иван, что не пожар это, а все же боязно ему. Переводит поскорей он взгляд за кремлевские стены, где сквозь легкий туман над Москвой-рекой, Яузой с болотистой Чечеркой видно Загородье, посады и слободы, все Заречье и подмосковные села и деревни. Всюду между озер и болот бегут, сверкая, ручьи и речонки, а на их берегах множество больших и малых мельниц, особенно по Яузе. Ярко желтеют глиной овраги, зеленеют рощи на пригорках и среди просторов зреющей ржи.

Засмотрелся княжич на знакомые места – любит он из окон на дали далекие любоваться, особенно из княжой башни-смотрильни. Иной раз подолгу глядит так в окна, пока не отзовут или пока тоскливо не станет. Видит он и дороги – тонкими ниточками тянутся они от Москвы в разные стороны: в Орду через Серпухов, в Нижний Новгород, левей, через Яузу, к Владимиру и Суздалю, а еще левей – к Юрьеву и в Кострому. Все их показывал княжичу Алексей Андреич, наставник его по чтению часовника и псалтыря.

Других дорог не видно княжичу, но знает он – памятлив очень, – что есть еще дороги: и в Ярославль, и в Новгород Великий, и в Литву, откуда бабка Софья Витовтовна приехала, и в Смоленск, и в Тверь. Смутные думы сами идут к Ивану со всех сторон, и тяжело ему на душе стало, когда ясней разглядел он дорогу на Юрьев и Кострому. Вспомнил, как отец постом еще по этой вот самой дороге уезжал с войском, а над ним высоко подымалась желтая пыль. О войне вспоминает княжич, о татарах, и страшно ему за отца, забыл совсем о дворе, где на возах масло, муку, мед, крупу привезли, уток, гусей и кур. Шарахаясь по двору, пылят там ногами и блеют бараны, громче и громче кричат и ругаются люди...

– Что ж, сыночек, там дееся? – услышал он голос матери. – Пошто крик такой и лаенье с сиротами и холопами?

Иван побольше высунулся из окна и увидел среди обозов, пришедших из княжих подмосковных, дворецкого Константина Иваныча. Тряся бородой, кричит он во весь голос на какого-то старика, а тот, поддерживая холщовые порты и нахлобучивая поярковый колпак то на лоб, то на затылок, тоже кричит на дворецкого, а что они кричат, непонятно. Тут же шумят и оба ключника дворовые, Лавёр Колесо и Федор Пупок со своими подключниками, – уток, кур, гусей, яйца да масло принимают.

Ничего разобрать нельзя.

– Костянтин Иваныч осерчал, на старика кричит, – не сразу ответил Иван матери, – а за что – не знаю...

В это время ясно в окно донеслось:

– Да ты Бога побойся, Костянтин Иваныч. Людишек мало! Не токмо что мужиков, но и парубков нетути! Все с князем на рати против безбожных татар... Эко-ста дело-то!

– Вот пожалуй тебя батогамы государыня Софья Витовтовна, вот те и дело! – прикрикнул дворецкий.

Дуняха вдруг встрепенулась и тоже к окну бросилась.

– Так и есть, государыня, из Капустина наши обозы пришли, – крикнула она княгине Марье Ярославне, – отца мово лае дворянин-то! Ох, государыня, и ведомо мне за что: к Пет-

рову дни не снарядил обозу, а сроку молил – не дал дворецкой. Заступись, свет мой ясной, перед старой государыней...

– Попрошу, Дуняха, а ты поди после молебной в подклеть, вызнай от отца все. Может, и сам Костянтин Иванович простит по моему заступничеству, не доведет до матушки-государыни...

– Ножки твои поцелую...

– Ох, как бы и мне срок не пропустить, – засмеялась княгиня, – шевелись, Ульянушка! В крестовой, чаю, матушка-свекровь уж все свечи и лампы затеплила.

– А который час, матунька? – спросил княжич Иван, соскочив с лавки и укрыв ее снова шитым налавочником.

Стройный и высокий не по годам, он в задумчивости гладил рукой угол изразцовой печки с голубой росписью и, хмуря брови, о чем-то усиленно думал. На вид ему было лет восемь, но большие, темные и строгие, как у матери, глаза смотрели так умно и остро, что казался он еще старше.

– Который час? – подхватила мамка Ульяна, желая развеселить княжича. – Ячневой квас! – А которая четверть? – Изволь, хоть и черпать.

Но Иван даже не улыбнулся.

– Вот и не ведаешь, – сказал он. – Илейка-звонарь тоже неверно бьет. А Костянтин-то Иванович мне сказывал, что есть за морем часы самозвонные.

– И у нас, Иванушка, на дворе такие есть, и в колокол каждый час ране они отбивали. Деду, великому князю Василь Димитричу, заезжий сербин ставил, да сломались они в тое еще лето, когда я овдовела, а сербин-то и ране того в Царьград отъехал. Чаю, помер там давным-давно, ведь и мне-то за шестой десяток идет...

Княжич оживился, суровые глаза его засияли.

– Во фряжской земле,⁷ Ульянушка, – ласково перебил он мамку, – часы иные. Месяцы, дни и числа они показывают, а бьют в два колокола: в большой – токмо часы, а в малой – токмо часовцы дробны...

– А что, голубенок мой, за часовцы такие? – спросила мамка.

– А то вот. В каждом часу шесть дробных часовцев, а в одном часовце десять часцов, а часец – токмо вот скажи «раз», и часец прошел. Насчитала ты десять часцов, вот тебе и дробной часовец прошел.

– Ну и скорометлив же ты, Иванушка! – дивилась Ульяна. – Вразумил тебя Господь и к хитрости книжной и во младенчестве разуму наставил.

– Пора нам в крестовую, – строго сказала княгиня, приняв от Дуняхи шелковый платочек белый с золотой каймой, и пошла к дверям.

– Матунька, – засопел носом и, готовясь заплакать, залепетал Юрий, – дай мне оладушка с медом...

– Дам, дам, мой басенькой, – стала утешать его Ульянушка, – вот придем из крестовой на трапезу, я те два дам! Мы ведь с тобой так: где олады, тут и ладно, где блины, тут и мы! А вечером в мыльню пойдем, медов да квасов наберем. Будем пить-попивать да коврижками заедать... Не плачь, не плачь, а то бабка заругает.

– Не забудь, Ульянушка, – сказала, выходя уже в сенцы, Марья Ярославна, – возьми в мыльню березового соку студеного. Чтой-то сердце у меня опять после поста разболелось. Ежели поем жирного, во рту горечь, и все мне нутро жжет, словно огнем палит.

Когда Марья Ярославна с чадами и домочадцами входила в крестовую, государыня Софья Витовтовна, покурив своеручно ладаном, приблизилась к аналою и, шурша шитой золотом

⁷ Фряжская земля – Италия.

приволок⁸ из узорчатого шелка, опустилась на колени. Творя крестное знамение и поклоны, она суровыми глазами следила из-под густых седых бровей за всем, что делается в крестовой. Увидев сноху со внуками, старая княгиня приветливо улыбнулась. Марья Ярославна подтолкнула незаметно Ивана и взглядом показала на свекровь. Княжич понял и, поднявшись с колен, подошел с младшим братом к руке бабки.

Следом за великокняжьей семьей пришли к молебну княжии слуги, не взятые с прочими дворовыми в поход, и вся домашняя челядь, крестясь и земно кланяясь.

Софья Витовтовна, отпустив внуков к матери, оправила аналой, передвинула удобнее Евангелие в серебряном окладе с изображением Христа посередине и ликами апостолов, писанных на эмали, по углам оклада. Раскрыв потом часовник и положив на Псалтырь между Евангелием и наперстольным крестом, она молча оглянулась на священника и кивнула ему головой, чтобы начинал он служение. Отец Александр, духовник великого князя, протоиерей кремлевского собора Михаила-архангела, седой величавый старик в шелковой темно-багровой рясе с наперсным крестом, быстро подошел к аналою вместе с дьячком Пафнутием и стал креститься. Потом взял с аналая положенную дьячком епитрахиль, развернул и благословил ее, произнеся звучным голосом:

– Во имя Отца и Сына и Святого духа-а!

– А-аминь! – протяжно закончил его слова дьячок.

Отец Александр благоговейно поцеловал вышитый золотом крест на епитрахили и через голову надел ее на шею, спустив сшитые концы на грудь.

Княжич Иван с любопытством смотрел, как привычно и ловко отец Александр высвободил наперсный крест из-под епитрахили и из-под курчавой седой бороды.

– Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков! – провозгласил священник.

– Аминь! – снова ответил Пафнутий.

Внимание Ивана рассеялось, когда началось чтение часов, которые он знал наизусть с тех пор, как выучился читать по часовнику. Ему вспомнились опять рассказы учителя, дьяка Алексея Андреевича о Цареграде, стоящем у моря, о фряжских землях, но особенно занимали часы во великокняжьем дворе, о которых он не знал раньше.

«Может, Ульянушка обманывает меня, – думал он, – любит мамка сказки сказывать и небылицы...» Он решил, как только придет Алексей Андреевич, просить его, чтоб показал дедовские часы на дворе. Никогда он никаких часов не видал, а они вот тут на дворе.

Нестерпимо долгими казались ему на этот раз утренние часы.

Переминаясь с ноги на ногу, но крестясь и кланяясь, когда нужно, он поглядывал исподтишка на бабу. Глаза у нее острые, и сейчас она усмотрит, что он молитвы не слушает, но она не глядит на него. Зато мать заметила и чуть слышно шепчет около самого уха:

– Не верти головой! Молись, как подобает!

Он усерднее кладет поклоны, но замечания матери не страшат его, и о молитве он мало думает...

– «Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу... – услышал он слова молитвы и обрадовался, что утренние часы уже кончаются, а дьячок тоже будто заторопился и скороговоркой закончил: – ...без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем...» – Потом, переменяв голос, громко и протяжно обратился к отцу Александру: – Именем Господним благослови, отче!

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков! – провозгласил священник так же громко и протяжно.

– А-аминь, – радостно протянул Пафнутий, закрывая часовник и отходя от аналая.

⁸ Приволока – безрукавка.

Государыня Софья Витовтовна первая подошла к аналою и, приложившись к Евангелию и кресту, приняла благословение духовного отца. Потом подошли Марья Ярославна и княжичи, а за ними все прочие.

Когда княжич Иван приложился к холодному золотому кресту, а потом к теплой, пахнувшей ладаном руке отца Александра, тот ласково погладил его по голове и спросил:

– Как Господь вразумляет тебя грамоте, княже? Лексей Андреич мне сказывал, что зело сподобил тебя Господь благодати, во еже внимати учению.

– Мы, отче, «Деяния» читаем...

– Похвально, вельми похвально. На шестом году токмо азбуку учат, а ты и часовник и псалтырь прошел. Да просветит тебя Господь и от всякого зла сохранит...

Он снова благословил княжича, а стоявшая рядом Софья Витовтовна прослезилась и ласково молвила, целуя в лоб внука:

– Любимик ты мой! Умная моя головушка...

Этот раз в субботу обедали, как на праздники, у Софьи Витовтовны – бабка захотела полакомить внуков. Старая государыня очень смеялась, узнав от мамки Ульяны, что меньшой об оладушках плакал, и приказала, пока еще стол не обряжен, пока скатерти стлали браные да сосуды ставили, принести внукам оладьев с медом. Юрий заскакал от радости и заплескал в ладоши.

– Ты что, – строго остановила его бабка, – ты у скоморохов да у гудошников скаканию и плесканию научился? Не подобает так княжичу.

Иван хотя вел себя в гостях чинно, как взрослый, но ел сладкие оладьи с не меньшим смаком, чем его братец, облизывая пальцы.

Сегодня у Софьи Витовтовны, кроме невестки и внуков, обедал и духовный отец, и на стол были поставлены серебряные енды и братины с медами и серебряные сулеи с водками всякими: простой, доброй, боярской, двойной и сладкой на патоке – для княгинь. В ведерках и ендах были квасы хлебные и ягодные, а для Марьи Ярославны особая серебряная братина – с березовицей.

Стояли серебряные блюда со студнем из свиных голов под чесноком и хреном, с колбасами, с копчеными сига́ми и провесной рыбой, а в малых ведерках была икра осетровая и стерляжья. Среди белого серебра сияли золотые и золоченые солоницы, перечницы и горчи́чницы.

Княжич Иван любил рассматривать всю эту посуду, особенно ту, что стояла на полках больших поставцов. Полки эти внизу широкие, для крупной серебряной посуды, а кверху все уже и уже для того, что помельче: кубков, стоп и чарок разных – и серебряных, и золотых, и хрустальных, и даже каменных, резанных из агата и сердолика.

На всех этих сосудах – узоры, позолота, чернь и эмаль или сделаны цветы, звери, люди, птицы и листья то литьем, то чеканом, то резьбой, и везде надписи. Иван не все надписи эти мог прочесть: по-итальянски многие писаны. Это из Литвы прислано Софье Витовтовне в приданое, когда она еще замуж за деда в Москву выходила.

Еще больше любил Иван рассматривать на бабкиных поставцах серебряные яблоки, зверей, птиц и рыб серебряных, золотых и костяных, а особливо город, точенный из кости, с башнями и церквами, а на костяных стенах его стрельни с воротами и подъемными мостами.

Садясь за стол, Иван видел и здесь затейливые фряжские, литовские и русские сосуды, лишь не такие нарядные, как в поставцах, но тоже узорные и с надписями. Против него мать поставила чарку с медвяным квасом. Он прочел на ней: «Чарка добра человеку, пить из нея на здравие» – и улыбнулся, довольный, что легко узнал, о чем писано.

Все это занимало его, и не заметил он, как подали жирные шти с бараниной, а к ним полбенную кашу на блюдах и блюдцах. Ест он шти с Юрием из одной мисы, заедая кашей, а дума у него опять о фряжских землях, где всё не по-нашему и всякие есть занятные хитрости.

– За здоровье московского князя великого, – услышал Иван голос отца Александра. – Ниспосли, Господи, благоверному князю нашему победу на сопротивные агаряны. Охрани его крестом Твоим, Господи.

Протоиерей поднял высоко серебряный кубок, перекрестился и выпил, низко поклонившись княгиням.

Снова стало Ивану страшно за отца, и забыл он о заморских землях – хочется знать только, как там под Суздалем. Ждет теперь не дождется, что скажут старшие.

– А что, отче, слышно? – спросила наконец Софья Витовтовна, и сухое лицо ее дрогнуло, а под легкими морщинами на лбу и под глазами прошла тень и застыла скорбно в уголках губ.

– Нету вестей, государыня, – печально ответил отец Александр, – но ведомо, что Димитрий Шемяка ни сам ко князю не пришел, ни воевод своих не послал...

– Ох, скороверен сынок мой, – вздохнула Софья Витовтовна, – сызнова поверил врагу своему Димитрию Юрьевичу. Димитрий же все время за ним, как волк за конем. Ждет, ежели спотыкнется, он ему в горло и вцепится.

– Истинно, государыня, – подтвердил духовник, – есть грех такой, скороверен наш князь. Сколько раз дядя, князь Юрий галицкий, а потом и сынок-то его, Василей Косой, обманом да нечаянностью вредили ему и даже Москву отымали.

– Помню, отче, – с горечью продолжала княгиня, – разграбил тогда на Москве князь Юрий и княжое и мое именье, а нас, княгинь, в Звенигород заслал, яко полонянок каких. Помнишь, чай, Марьюшка? Никому того не дай, Господи... Помер князь Юрий-то, слава богу, а сынок его в тесном заключенье слепой сидит крепко. С Шемякой же у нас мир, вишь. Забыто, что шесть лет всего как безбожный Улу-Махмет к Москве подходил, а Шемяка ни одного воя и тогда не прислал, а крест целовал. Ныне вот сызнова поверил мой сынок врагу, а где от Шемяки помочь?

– Истинно, государыня! Ни один полк от князя Димитрия, слышно, не послан, а царевич Бердедат, чаю, не поспеет к Суздалью на помощь – отстали вельми от нашего князя. Токмо еще от града Юрьево отошел царевич-то...

Священник замолчал, опустив голову. Долго молчали все за столом, в печали продолжая свою трапезу. Взглянув на мать, увидел Иван, что склонилась она над своим кубком с березовицей, а из глаз у нее бегут двумя дорожками слезы по щекам, размывая румяна и белила.

Сердце княжича сжалось, и, боясь заплакать, он торопливо стал обгрызать поданное ему Улянушкой стегнушко жареного гуся. Отирая жирные руки и губы столовым полотенцем, он торопливо утирал незаметно и слезы. Но Софья Витовтовна все видела и, обратившись к любимому внуку, сказала с нарочитой веселостью:

– А ну-ка, Иванушка, скажи, какое ныне лето?

Княжич, пересиливая себя, чуть помолчал и голосом спокойным, но с едва заметной дрожью, ответил ясно и отдельно, как будто отвечал своему наставнику:

– Шесть тыщ девятьсот пятьдесят третье лето от сотворения мира...⁹

Старая княгиня гордо улыбнулась, увидев изумление на лице отца Александра, и добавила:

– Знай, любимик мой, что худа всегда ждут в высокосныя леты, а прошлое лето было высокосное, а и тогда худого нам не было...

– Ничего худого по воле Божией и ныне не будет, – добавил Александр, поняв, что старая княгиня хочет утешить и сноху и внука.

– Марьюшка, – продолжала Софья Витовтовна, – враги-то наши того не ведают, что они – токмо краешки, а середка-то всему – Москва, все под Москву само придет. Всех их Москва

⁹ 1445 год.

съест, а без Москвы и Руси не стоять. Вот и моего сыночка скороверного сама Москва, Божией милостью, с десяти годочков бережет...

– Да и советы твои берегут, государыня, – добавил отец Александр. – Из детства ты его государствованию вразумляла...

Иван не слушал дальше, затосковав опять по отцу. Так вот и стоит он перед ним в золотых доспехах, каким он уезжал на рать, а глаза у него веселые-веселые – смеются...

Когда же подали изюм, редьку, варенную на меду, рожки, финики, сушеную смокву, обед пришел к концу. Маленький Юрий устал, захотел спать, не ел даже лакомства, зевал и потягивался.

– Ульянушка, – сказала Марья Ярославна, – уложи-ка его спать.

Мамка Ульяна засуетилась около Юрия, взяла его на руки и понесла в спальню княжичей, нараспев приговаривая:

– Потягота на Федота, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого...

Вышел вслед за Ульяной из-за стола и княжич Иван, захватив кусок сухой смоквы. Сам он уж больше не хотел сладкого, но брал смокву для друга своего Данилки, сына дворецкого Константина Ивановича.

Отстав от Ульянушки, Иван задумчиво и медленно, а не скачками, как всегда, сошел во двор по широкой лестнице с резными решетками по бокам. Он только сегодня за трапезой вполне осмыслил всю беду, которая может постигнуть отца, бабу, мать и его самого с Юрием. Улу-Махмет казался ему теперь страшным, вроде Змея Горыныча, о котором ему с Юрием Ульянушка сказывала, и досадно было за отца, что он не умеет делать так, как следовало, как бы Добрыня Никитич сделал или, еще лучше, как сам Илья Муромец...

Зажимая в кулаке кусок сушеной смоквы, он обошел княжие хоромы и направился к черному крыльцу бабьих хором, к жилым подклетьям, где всегда его поджидал Данилка. После обеда им было самое свободное время, когда все ложились отдыхать, а они вдвоем, без нянек и мамок, бродили по всему княжому двору, где хотели, только за ворота не смели выйти.

Но на этот раз в бабьих подклетьях Данилки не оказалось, а сидели за столом у самой переборки у солныща, у бабьего стряпного угла, Дуняха с отцом да сторож-звонарь с ними, старый Илейка. Перед ним была сулея с водкой да ендова с крепким медом: у ключника для гостя Дуняха вымолила.

Свой он, ключник-то, из капустинских.

– А, княжич! – весело крикнул тот самый старик, что утром бранился с дворецким. – Милости просим, здравствуй, голубок! Садись с нами за стол, чем богаты, тем и рады. А я, вишь, ежели на дворе, то на солнышке, а ежели в избе, то поближе к солнышку! Садись к нам, соколик.

Иван перекрестился на образ в красном углу, поздоровался и присел на скамью возле Дуняхи.

– Вот я тебе и скажу, – продолжал Дуняхин отец, – дворянин-то утресь кричал, что я-де, староста из села Капустина, опять поруху учинил государеву делу! А тивун-то¹⁰ капустинской где?! Ты все, Дуняха, молодой княгине обскажи. Тивун-то все на меня, а мужиков нет, парубков нет – нет мне ни от кого помочи.

Он замолчал, выливая в деревянную чарку Илейки остатки водки.

– Будя, Кузьмич, а то шумен стану, – улыбаясь, отнекивался Илейка, а сам тянул к себе чарку.

¹⁰ Тивун, тиун – управитель княжой (дворцовой) волостью, сельский староста и судья.

– Пей, Петрович, за здоровье нашего князя, – продолжал, пьянея уже, Кузьмич, – а я еще медку пососу. Эх, хорош едреной, крепкой медок, не хуже водки. Эко ста дело-то! А тивун-то у нас – не дай боже! Такой нечунай¹¹ – никакой от него ни ласки, ни помочи не жди...

– Сие, как татары говорят, «ни сана, ни мана»,¹² – промолвил Илейка, ставя на стол пустую чарку. – Есть такие. Ни сиротам, ни князю от их добра нет. Ну, да как Бог. Небось, Кузьмич, правда сама себя очистит. Правды и Мамай не съел...

Илейка замолчал, опустив захмелевшую голову, но тотчас же встрепенулся и заговорил горестно:

– Отец еще мне при смерти приказывал: держись Москвы, как вошь кожуха. В тепле и в сыче будешь, и татарин тебя не тронет! Ан Улу-Махмет Москву один раз ограбил, теперь опять идет.

– Князи виновати, – мрачно выговорил Кузьмич. – Сказано: за княжое согрешение Бог всю землю казнит! Князи-то наши волками грызутся, ладу у них нет, а без ладов и кадки не соберешь.

– Как подумаешь умом – и головушка кругом, – поддержал Илейка. – Поганым же того и надобно – прут на Москву, убивают, грабят, христианство в полон берут.

Кузьмич оперся на руки и залился пьяной слезой.

– Не горюй, братаня! – тронул его за плечо Илейка. – Не тужи, голова. Давай песни играть.

– Эх, ты! Какие мне песни! – всхлипнул староста и, ложась головой на стол, добавил: – Двое сынов у меня под Суждалем-то...

Густой храп показал Дуняхе, что отец наугощался досыта. Осторожно уложила она его на лавке и побежала в хоромы к Марье Ярославне.

Княжич, досадуя на Данилку, что до сих пор не приходит, смотрел на дремавшего Илейку. Опять ему обидно и тяжело от всего, что услышал, хоть плачь, да про часы вдруг вспомнил, дернул за рукав Илейку:

– Покажи часы самозвонные, что на дворе! Покажи!

Оживился старик и дрему забыл.

– Экую старину ты вызнал, – говорит Илейка, посмеиваясь, – айда на двор. При мне их ставили, я еще парубком молодым был – сербину колеса подгонять пособлял.

Повел старик Ивана в самый конец княжого двора. Видит княжич, стоит здесь башенка ветхая, деревянная, а на ней круг большой медный и прозеленел весь. Стрелка на нем одна толстая, на резных знаках неподвижно стоит: на двух крестах с палочкой и уголком – XXIV.

– Сие, княжич, часы и есть, – указывает рукой Илейка. – Стрелка вон та ране кругом ходила и как подойдет к какому знаку, так колокол бьет. Знаки те – латыньские, как сербин-то говорил, а я неграмотен. Знаю, вот одна палка – один раз били, две – два, три – так три раза, а там уж токмо по бою помнил.

Княжич долго смотрел на медный круг, на стрелку и знаки.

– А кто же стрелку двигал? – спросил он наконец.

– Сама, княжич, шла. Колеса в башне вертелись.

Иван удивленно и недоверчиво глянул на Илейку, потом быстро подбежал к башне, заглянул в щель полуотвалившейся дверки и замер. Сам в полутьме он увидел огромные зубчатые колеса, круглые железные брусья, цепи и гири.

– Верно, Илейка, – крикнул Иван, – есть там колеса! Колеса, ты говоришь, стрелку вертели, а колеса кто?

¹¹ Нечунай – неучтивен, грубый.

¹² «Ни тебе, ни себе!»

– Гири вот те, что на цепях, а я их каждое утро подымал, а они к другому утру опять спускались. Так они целый день и ночь колеса и стрелку вертели и вот тем кулаком железным в край колокола били...

– А если теперь гири поднять?

– Ржой, княжич, всё переело, а ране что-то унутри их сломалось – не то зубья у колеса, не то ось. А били-то они зрятну всякую: и тринадцать, и пятнадцать, а то и двадцать четыре...

– А вот Костянтин Иваныч говорит, за морем такие часы есть, что всё показывают: и год, и месяцы, и дни, и числа.

– На море, на окияне, – смеясь, перебил его Илейка, – на острове на Буяне стоит бык печеный, в зад чеснок толченый: спереди режь, а в зад мажай да ешь! Помело – твой Костянтин-то Иваныч.

Княжич рассердился и крикнул:

– Ничего ты не разумеешь и сам-то часы звонишь неверно!

– Ай нет! Я всегда по петухам и по солнцу. Право слово. Исстари так, – заспорил Илейка и вдруг крикнул: – Эй, гляди, княжич, Данилка-то бежит сюды что угорелый! Слышь, на дворе гом какой поднялся.

Иван оглянулся.

Данилка, мальчик лет десяти, всегда резвый такой и веселый, подбежал теперь к княжичу испуганный и бледный.

– Где ты был, Иванушка? – запыхавшись, бормотал он срывающимся голосом. – В подклетях искал, по двору... Тут вот увидал...

Иван сунул ему с маху кусок смоквы в руку, а спросить от испуга ничего не может, будто онемел совсем. Данилка замолчал, пучит глаза на княжича и наскоро, целым куском, жует смокву, давится.

– Да сказывай, пострел, что там такое случилось? – не своим голосом закричал Илейка и, не дождавшись ответа, бегом бросился к хоромам.

– От Суждаля прибежали, – глотая с трудом смокву, выговорил наконец Данилка. – Двое холопов прибежали: Яшка Ростопча и Федорец. В сенях княжих хором ждут, когда бабка и мать твоя к ним выйдут...

Затрясло Ивана мелкой дрожью, и, не помня себя, побежал он тоже к хоромам, а за ним и Данилка. Сироты, холопы и вся челядь с княжих и боярских дворов шумела и галдела у хором великого князя, а бабы голосили и причитали. Княжичу Ивану дворня давала дорогу, кланяясь и снимая шапки, когда протискивался он к красному крыльцу. Не переводя духа вбежал он с Данилкой по крутой лестнице наверх, к горницам, но, заскочив в сени, остановился.

Бабка Софья Витовтовна с посохом в руках стоит на пороге в дверях передней. Сзади выглядывает мать, бледная, заплаканная. Иван хотел было кинуться к матери, но, взглянув на бабу, не посмел и, встретив ее суровый, словно чужой, взгляд, замер весь.

Никогда он еще бабу такой не видел и понял, почему все, даже отец с матушкой, боятся ее. Тихо в сенях, как в церкви, а против старой государыни стоит с завязанной головой истопник великой княгини Марьи – Яшка Ростопча да еще Федорец Клинт из княжой стражи, а рука у него почти по локоть отсечена. Ужаснулся княжич, разглядывая окровавленные тряпки на ранах воинов, рванулся было опять к матери, но, вспомнив бабу, остался на месте. Оглянулся пугливо по сторонам: видит, стоят тут и бояре, и боярские дети, и дворяне, и слуги дворские всякого чина.

– Ну сказывайте, – повелительно и строго приказала Софья Витовтовна.

– Государыня великая, – заговорил Ростопча, – в тое время были мы во граде Юрьеве. Ничего не слыхать было о сыновьях Улу-Махметовых, Мангутеке да Якубе, царевичах, а при-скакали к нам воеводы из Новагорода из Нижнего старого: князь Федор Долголядов да Юшка Драница, они, град свой ночью сжегши, к нам от татар прибежали. Тогда князь великий, Пет-

ров день отмолясь в Юрьеве, пошел к Суждалю на татар... От воевод-то нижегородских нам ведомо стало, что пошли туда царевичи...

– Ну а братья великого князя? – резко перебила Ростопчу Софья Витовтовна.

– По дороге к Суждалю подошли братья-то. Пришли от отчин своих князь можайский, Иван Андреич, да брат его князь верейский, Михайла Андреич, да шурин великого князя князь Василь Ярославич с полками...

– А Шемяка?

– Князь-то Митрий Юрьич ни сам не шел, ни полков не слал, а мы немало коней загнали, помочи его прося, ибо христиан мало было...

– А было то, государыня, – вмешался Федорец Клино, – когда мы на реке Каменке, близ Суждаля, станом стояли, июля в шестой день, во вторник. А как стали на Каменке, вдруг всполох великий начался в войске. Надели доспехи, знамена подняли, пошли в поле, а татар нигде нет. Видом не видать, слухом не слышать поганых. Пришел тут к нам вечером с полком своим Лексей Игнатыч, а потом и иные воеводы, которые отстали было от нас. Один токмо царевич Бердедат не подоспел – токмо к ночи к Юрьеву подошел. Ну, мыслим, – татар нет, успеет завтра к вечеру и царевич, да и воеводы некоторые на помочь нам тоже соберутся, пока войска Улу-Махметова еще нет. Возвеселились все...

– Пировать начали! – стукнув посохом в пол, с досадой молвила старая княгиня.

– Верно, государыня... – печально подтвердил Федорец, – князь великий ужинал у себя со всею братией и боярами, пировали до полуночи. Проснулся наутро князь поздно – солнце давно взошло. Повелел он заутреню петь, а потом похмелья поел и, опохмелясь, захотел отдохнуть, а тут стража наша прибегла с вестью, что татары через Нерль-реку бродятся...¹³ Начали мы тут все спешно доспехи, щиты, мечи и копья хватать и, снарядившись и знамена подняв, изгоном¹⁴ пошли на татар в поле и близ Евфимиева монастыря, по левую сторону, поганых увидели множество. Откуда и взялось их столь, конца края им нет...

Замолк Федорец, словно духу ему не хватило, побелел, как снег, и голову опустил. И Ростопча молчит. А в княжих сенях замерло все от страха; тишина, будто в могиле. Обмер почти Иван, но смотрит на Софью Витовтовну, ждет, что скажет, а руки у него оледенели совсем. Лицо у бабки стало каменным, неживое будто.

– Дальше сказывай, – услышал Иван ровный, но глухой голос, словно из другого покоя говорила теперь старая государыня. – Все, как было, сказывай...

Воины молчали, а Софья Витовтовна нетерпеливо стукнула посохом в пол, глядя в упор на Ростопчу. Собираясь с мыслями, Ростопча оправил повязку на голове и заговорил тихо:

– Сперва мы, государыня, стрелы пущать зачали. Потом, распаясь гневом, ударили на татар и с лютостью били их. Побежали полки поганых. Наши погнались, а иные из христиан сами убежали, иные же начали убитых татар грабить. Татарове же, видя берядьё такое, повернули опять на нас. Рубят, копьями колют, стрелами бьют, в полон имают...

– А где князь наш? – слабо вскрикнула Марья Ярославна и упала без чувств у порога.

Ульянушка подняла ее и посадила на лавку, а Иван, забыв все, подскочил к матери, обнимал, целовал ее, но не плакал, а только дрожал весь. Иногда он поглядывал на бабуку – та все еще стояла неподвижно на пороге передней и слушала, что говорят воины. Он вздрогнул, когда бабука закричала громко и гневно:

– Что ж вы, холопы, князя своего не уберегли? Слуги князя можайского, говоришь, с земли сбитого подняли, на другого коня посадили, из плена умчали. А вы своего князя что ж?

¹³ Бродиться – переходить вброд.

¹⁴ Изгоном – стремительно, поспешно, неожиданно для противника.

– Государыня великая, – горестно отвечал Ростопча, – мне секирой через шапку голову до кости прорубили, а копьём правое плечо сквозь тягилый¹⁵ пронзили. Отогнали поганые меня от князя, а князь-то зло бился, много безбожных убил.

– А я, государыня, до конца был, пока князя с коня не сбили. Тут мне руку отсекали... – сказал Федорец.

Замутилось в голове у Ивана, припал он к плечу матери и обмер, а когда очнулся, видит, словно через туман, что вместо воинов стоит перед бабкой Константин Иванович, бледный. Борода у дворецкого дрожит, ртом он воздух хватает, как рыба, из воды вынутая, и тонко, по-бабы выкрикивает:

– Государыня, сотник татарский Ачисан прискакал!.. Не один, а с конниками... Хорошо понимает по-русски... Тобя, государыня, спрашивает...

Вдруг двери широко распахнулись. Вломился в княжии сени молодой татарин со щитом и с саблей, а на голове шишак. Сзади него еще пятеро татар со щитами и копьями. Оцепенели все со страху, только Софья Витовтовна по-прежнему на пороге стоит с посохом и прямо глядит на татарина, а он на нее дерзко смотрит. Да не выдержал Ачисан, опустил глаза и поклонился, а она повернулась к зятю своему, боярину князю Юрию Патрикееву, что военной заставой в Москве ведал в отсутствие князя, и повелела:

– Прикажи, боярин, враз затворить все ворота во граде, а сторожам и воям вели стоять на всех стрельнях и пушкарям вели, что знаешь.

Боярин вышел. Стоит Софья Витовтовна, опираясь на посох, и ждет. Лицо у нее опять каменным стало. Молчит и татарин, только суму свою развязывает, достает золотые кресты-тельники, подает их старой государыне.

Ахнули все как один, узнав кресты великого князя, а Софья Витовтовна молча перекрестилась, поцеловала тельники и зажала их в руке. Вскрикнула, заголосила Марья Ярославна, но смолкла, когда свекровь обернулась к ней с гневным лицом. Опять, как в могиле, стало тихо в княжих сенях. Ачисан же, собираясь уйти, поклонился и сказал по-русски:

– Пленен ваш князь полками царя Улу-Махмета. В Ефимьевом монастыре он, в руках у царевичей. По их воле я, сотник Ачисан, отдал тебе его тельники, а князь хотя и ранен, а здоров будет...

– А ты, сотник, скажи царевичам, пусть царю Улу-Махмету доведут, что дадим, какой можем, окуп за князя. Пусть царь Улу-Махмет отпустит его на Москву. Пусть царевичей и князей своих с князем великим пришлет, дабы из рук моих окуп за него взяли. На том царю челом бью. А об окупе царю договориться с сыном моим, как оба пожелают. – Задрожали губы у Софьи Витовтовны, помолчала она и добавила: – Пусть еще скажут царевичи царю Улу-Махмету, что за великого князя вся Москва и все христианство. А теперь прости, вкуси от нашей трапезы и отъезжай к царевичам с моей челобитной... – Обернувшись к дворецкому, она приказала: – Угости с честью сотника и воев и коней их накорми. – Потом обратилась к боярам: – А вы, бояре, как покличу, в переднюю на думу придите...

Она поклонилась и пошла в свои покои, а из сеней все выходить стали.

Широко открытыми заплаканными глазами следил Иван за бабкой, идя вслед за ней. У себя в покое Софья Витовтовна вдруг будто переломилась сразу, стала старой-старой старушкой, упала на скамью, зарыдала и забилась в тоске. Марья Ярославна прибежала, заголосила, обняла свекровь, причитает, руки ей целует. Тут Иван вдруг почувал, как страх у него прошел и сила какая-то в нем появилась. Подошел он к бабке, тронул ее за руку и, когда она посмотрела на него мокрыми от слез глазами, суровым, хотя и детским голосом сказал твердо:

– Бабунька! Вот вырасту и всех татар побью. Не дам им никого обижать.

¹⁵ Тягилый – толстый стеганный кафтан, употреблялся вместо панцыря для защиты от ранений.

Улыбнулась Софья Витовтовна, поцеловала внука и снова стала, какой была всегда, строгой и важной.

– Перестань, Марьюшка, – сказала она, обращаясь к снохе, – сей часец бояр позову думать. Буду яз тебе и деткам охраной вместо князя великого, пока он из полона не выйдет.

Глава 2

Пожар и смута московская

Весть о пленении великого князя в тот же день обошла все посады, слободы и подмосковные села и деревни. Уже с ночи потянулись к Москве оттуда возы со всяким добром, что поценнее, а также с запасами разными: мукой, зерном, крупой всякой, маслом и салом. На телегах сидели дети, дряхлые старики и старухи с курами и гусями в плетенках, а за телегами гнали овец и вели коров.

Все обозы с шумом, криком, сгруживаясь в кучи, теснились и ворошились под стенами Кремля, медленно и с трудом проходя в ворота. Одни подводы затирали другие, а задние напирали на них, путались, цепляясь одна за другую. Телеги, скотина и люди комом сбивались в общей беззрядице. Страх мучил людей и гнал их, не давая одуматься: с часу на час ждали передовых полков Улу-Махмета, уже раз осаждавшего Москву шесть лет назад, пожегшего тогда все посады и слободы. Всяк спешил затвориться за кремлевскими каменными стенами и спастись от полона и смерти.

Полны-полнехоньки стали улицы и переулки кремлевские от многолюдства великого – словно торг шел у всех хором, у каждой самой бедной избы курной и даже у хлевов и закутов. Только не весело от этого торга шумливого – страх и тревога повсюду, – дети и те плакать не смеют.

Негде уже вместиться людям – нигде в Кремле никакого жилья свободного больше уж нет, – и вот на площадях и пустырях ютятся: одни на телегах и под телегами, другие наскоро понаделали себе балаганов из досок, жердей и кольев, обтянутых дерюгой, сермяжной или холстом дубленным; жгут костры, как кочевники в степи, варят в котлах баранину, кур, гусей, лапшу татарскую или пшено с салом, – кому что Бог послал.

Так вот и ночь прошла. Утро заалело над Москвой, а обозы все еще шли со всех сторон; словно извивающиеся черви, впивались они в кремлевские ворота и всё вползали и вползали в улицы, тесня уже осевших там ранее.

Княжич Иван, пробудившись с рассветом, бросился к окну и застыл от изумления и испуга.

– Татары, татары! – громко закричал он, но крик его еле был слышен из-за гула голосов на улицах и почти около самых хором княжого двора.

Мамка Ульяна, дремавшая около крепко спящего Юрия, вскочила с лавки, когда Иван пробежал мимо нее.

– Куда ты, Иванушка?! – крикнула она.

– К матушке.

– Она у бабки! – схватив Ивана за руку, шептала ему мамка. – Татар ждем, Иванушка! В осаде будем у поганых. Наказал Господь!

Слезы навернулись на глазах Ульянушки, но Иван, вспомнив о бабке, успокоился и уже не бегом, а степенно вышел из покоя в сенцы, направляясь к Софье Витовтовне.

Покои старой государыни были заставлены раскрытыми сундуками, погребцами и ларцами, большими и малыми. Челядь обеих княгинь спешно приносила из подклетей и укладывала, как в дорогу, шубы князя и княгинь русского, польского и турецкого покроя на редкостных мехах, головные уборы, сапоги и башмаки с золотым шитьем, униженные камнями самоцветными и жемчугом. Клади в сундуки золотые шейные цепи, перстни, кольца, серьги и золотые обручи, осыпанные камнями драгоценными, сосуды и блюда золотые, венцы, оклады икон и кресты в камнях самоцветных и много тканей ценных – византийских и ирландских.

Всем управляла, руководя слугами, Марья Ярославна, а Софья Витовтовна только приказывала, что брать, а что оставить.

– Всего, Марьюшка, не увезешь, – говорила она ласково и печально, – а сохранить бы токмо святыни свои и от казны нашей то, чем неверным угодить было бы при окупе. – Увидев Ивана, бабка кивнула ему. – Подойди-ка, любимик мой, – продолжала она с той же лаской, тихой и горькой, – чтой-то ты до солнца поднялся?..

Иван подошел к руке бабки и только теперь заметил, что в ее покоях тихо и никакого шума и гомона со двора не слышать. В опочивальне княжичей все окна отворены, а тут все опущены, и говор людской чуть слышно, словно там, за окнами, ветер в деревьях шумит листьями.

– Яз, бабунька, от крика проснулся. В окно поглядел, а там везде люди шумят, и у нас тоже, у самого двора, а наши слуги их гонят.

Убжавший Константин Иваныч перебил его и, склонясь к Софье Витовтовне, зашептал:

– Великая государыня, изволь скорее слуг выбрать для своего поезда и в стражу для пути. К ночи надоть тебе с семейством выехать, пока поганые не подступили... – Оглядевшись кругом, он еще тише добавил: – На Москве, государыня, беспокойно. Черные люди ропшут. Откуда-то вызнали они, будто все богатые да сильные из Кремля хотят выбежать в разные грады, и зло против богатых мыслят.

Софья Витовтовна нахмурила седые брови, посмотрела на дворецкого и молвила:

– Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молятся. Мало ль бреху по граду ходит. Дозоры наши не видали татарского войска. Мыслью яз сперва княгиню с княжичами отослать, а куда, о том после речь будет. Великой же княгине ране, чем на Кирика и Улиту, не снарядиться, на сборы дня три будет надобно.

– Шумит народ-то, государыня, от страха и зла. Особливо посадские, что еще с ночи в осаду сели. Есть и такие, что хотят все в свои руки взять, государыня.

– Чего Бог не даст, – усмехнулась Софья Витовтовна, – того никто не возьмет. Иди, Иваныч, готовь обозы, а слуг для поезда яз тебе потом укажу. – Обернувшись к Марье Ярославне, она сказала: – А ты, Марьюшка, святое Евангелие, кресты и оклады в большой резной ларец положить прикажи да окутать, не бились бы в телеге-то на бревнах да выбоинах.

В покой вошла мамка Ульяна.

– Иванушка, – тихо окрикнула она княжича, – подь умыться. Скоро звонить будут к заутрене, не замешкаться бы нам. Ведь первый-то звон – чертям разгон, другой звон – перекрестись, а третий-то – оболокись да в церкву поторопись.

Накануне дня Кирика и Улиты появился неведомо откуда юродивый странник во власянице и веригах, а в руке у него толстый посох дубовый с медным голубем на верхнем конце. Все лицо у юродивого бородой заросло, копной на голове волосья, а глаза горят и бегают. Быстро так ходит он все меж возов, звеня железами, иногда останавливается, стучит посохом в землю и кричит:

– Ох, смертушка, смертушка – геенна огненная!.. Все камни сторгят на земле, потекут ручьями железо и медь, серебро и золото! – С гневом отталкивает он всякие подаяния и, запрокинув голову к небесам, с рыданием взывает: – Господи, Боже наш! Вскую еси оставил ны?!

Никто не понимает его, но все боятся, а многие женщины плачут от страха. Говорят в толпе о конце мира и о знаменьях.

Встретив возле Успенского собора Дуняху, юродивый погнался за ней, грозя посохом, а у княжого двора завопил во весь голос:

– Кошки грызутся – мышам покой! В ню же меру мерите, возмерится и вам! Старый ворон мимо не каркнет!..

Насилу отогнали его холопы. Княжич Иван видел с красного крыльца, как прыгал у ворот юродивый, гремя цепями и выкрикивая страшные, непонятные слова. Сбежав с крыльца, Иван боязливо подошел к воротам. Там стоял старый Васюк, ходивший за княжичами вместо Ульяны, когда отец возил их с собою на богомолье или на охоту.

Широкоплечий Васюк с курчавой седеющей бородой был любимым слугой великого князя. Иван, схватив старика за большую, крепкую руку и робко поглядывая за ворота, торопливо выпрашивал:

– Чтой-то шумят все, Васюк? Что юродивый кричал? Дуняхе за что грозил он посохом?..

– Не бойся, Иванушка, – ласково и спокойно сказал Васюк, чуть усмехаясь в бороду, – юрод сей не от Бога, а от лукавого, не истинный он – облыжно говорит. Чернецы из Чудова его науськивают, вот он и лает, как пес из подворотни. И в святых обителях подзойники есть, Иванушка, вороги государя. На шемякино кормление они живут...

Васюк положил руку на плечо княжича и, склонив к нему кудлатую голову, тихо добавил:

– Не бойся, говорю, Иванушка! Есть тебе и без государя защита и от бабунки и от нас, верных слуг. Мы спозаранку, до татар еще, из Москвы выбежим. К Ростову поедem или в Тверь – про то одна Софья Витовтовна знает. Уйдем и от поганных и от Шемяки. Найдет бабка, где нам схорониться...

Мимо ворот, выбиваясь из сил, пробежал купец – богатый гость,¹⁶ в изорванном кафтане, без шапки, с окровавленным лицом, а в улицах и переулках следом за ним гудел топот толпы, и в гомоне и гуле можно было разобрать среди грозного рева отдельные выкрики:

– Ло-о-ви-и!.. Бе-е-й окая-янны-их! Не-е пу-у-уска-ай! Ло-о-ов-вии!..

Иван увидел, как изо всех улиц и переулков валом повалили на площадь посадские черные люди с кольями и палками, окружая связанных бояр, купцов и даже дьяков, и гнали их впереди пустых разграбленных подвод. Семьи задержанных с чадами и домочадцами сидели на телегах. Женщины вопили и причитали, плакали и громко взвизгивали испуганные дети...

У самых княжих ворот, размахивая колом, прошел ражий детина, по всему видать было, что кузнец, и зычно кричал в толпу:

– Нашим трудом мощну набивали, добро наживали! Теперь животы свои спасают, а нас головой татарам выдают! Гони их, христиане, по дворам, лошадей да подводы от их отымай!..

– Айда, ребята, к воротам градным! – выкрикали разные голоса из гущи толпы. – У ворот стражу свою, посадскую поставим!.. Айда ворота запираТЬ.

Васюк нахмурил брови и, поправив кончар¹⁷ за поясом, сказал стоявшему рядом воину:

– Отведи-ка княжича в хоромы да обскажи все Костянтин Иванычу про смуту и подзой в народе... Да скажи, прибежали сироты с Клязьмы-реки. В трех местах, бают, перешли ту реку поганные. Одни идут к Володимеру, а иные и на Муром. Неровен час на Москву придут.

Весь этот день княжич Иван ходил в тревоге по своим хоромам, откуда слуги торопливо выносили всякое добро в сундуках, грузили на дворе в телеги с сеном, покрывая сверху дерюгами и увязывая веревками. Все говорили вполголоса, словно боясь, что услышит кто-то, делали всё, будто хоронясь от чужого глаза.

Ульянушка, отведя княжича в сторонку, шепотком на самое ухо рассказала:

– Мы, Иванушка, завтрачка до рассвета пойдем с подводами, а куда, не знаю. Бабка о том токмо Костянтин Иванычу приказала. Татары, бают, совсем уж близко, а под Москвой Шемяка кружит коршуном.

– Где ж мы пройдем? – глухим голосом спросил Иван, и губы у него задрожали. Шемяки боялся он еще больше, чем Улу-Махмета.

– Худая тамышь, что один лаз знает! – затараторила Ульянушка, увидав, что напугала княжича. – Старая государыня найдет дорогу.

Всхлипывая и зажимая рот платком, вбежала Дуняха. Уткнувшись в угол за изразцовой печкой, она что-то жалобно причитала сквозь слезы.

– Ты что, дура, нюни распустила?! – крикнула на нее Ульянушка. – Работы тебе нет?

¹⁶ Гостями в старину называли богатых именитых купцов, торговавших не только на русских рынках, но и в чужих землях.

¹⁷ Кончар – длинный кинжал.

– Ульяна Федотовна, матушка! – заголосила Дуняха. – Истопнику-то нашему, Ростопче, приказала государыня Софья Витовтовна на княжом дворе остаться хоромы стеречь да ее двор блюсти на Ваганькове...

– Уймись! Утри глаза-то – княгиня Марья Ярославна тебя кликала!

Дуняха сразу смолкла и уныло побрела в покои великой княгини.

– Пошто она плачет? Юродивый напугал? – спросил Иван.

– Дура, вот и плачет, – сердито ответила Ульянушка, – просватали ее за Ростопчу, свадьбу играть уж думали, а тут вот те и на: кому «Христос воскресе», а нам – «Не рыдай мене, мати...» Идем, Иванушка, – бабунька нас кличет. Юрьюшка уж там ужинает, – солнышко низко стало, а вставать нам до свету.

За столом сидела Софья Витовтовна одна с внуками. Марья Ярославна с Константином Ивановичем в хлопотах были, им не до ужина. Иван ел молча, взглядывая изредка на хмурое, суровое лицо бабки. О многом хотел он спросить ее, но не решался. Наконец она заметила это и сама спросила:

– Ты что, Иванушка?

– Видал яз, баба, юродивый, в цепях весь, за Дуняхой бежал, палкой грозил, а что кричал, не знаю.

Бабка усмехнулась.

– Боле не токмо кричать, а и встать седмицу после батогов не сможет, – сказала она жестко. – Не юрод он, Иванушка, а вор-изменник, шемакин слуга, из чернецов чудовских подослан. Учись на людях, Иванушка, и век помни: Богу молись, а чернецам не верь. На всякое они воровство ради кормленья, ради стяжанья пойдут.

– А за что посадские бояр да купцов били?

– А сие, любимик мой, особо запомни. Когда княжить зачнешь, сам поймешь. Токмо не забывай: рыба с головы гниет. Когда князь слаб – ослабление и в народ идет, смуты рождает... Справная, в меру сытая лошадка вожжей слушается, изрядно воз везет, а закормишь – с жиру бесится, не докормишь – со злобы... Ну, голубики, спать вам пора – с ночи поедем.

Внуки пошли к руке Софьи Витовтовны, та перекрестила их и поцеловала на прощанье:

– Храни вас Господь!

Заря вечерняя потухала уж и багровыми полосами сквозь слюдяные окна тянулась через всю опочивальню княжичей к изразцовой лежанке. Темнело в покоях, но все багряней становились полосы от окон, подымаясь к самому потолку. Княжич Иван лежал с открытыми глазами, то ворочаясь, то слушая ровное дыханье спавшего рядом Юрия, шепот молитвы и шуршанье на лежанке, где примостилась Ульянушка.

Не спится Ивану. Не болит ничего, и страха нет, а только думы разные, и что-то недоброе, грозное чудится, тоской гнетет...

– Ты что, соколик, не спишь-то? – зевая и крестясь, сонно говорит Ульянушка. – Вставать-то ведь до свету.

Услышал Иван знакомый голос, и стало все обычным, а думы и тревоги, как мыши, разбежались и спрятались. Легко ему, и говорить не о чем. Так только, чтоб голос подать, спросил он мамку:

– А Костянтин Иванович поедет с нами?

– Поедет, соколик, поедет. Со всем семейством поедет: с Матреной Лукинишной и детьми – с Данилкой и с Дарьюшкой. Твой Васюк тоже поедет, а ты спи, сыночек, спи, андел тебя твой охранит. Он, андел-то твой, на правом плече у тебя. Как глазки закроешь, он крылом тебя осенит, и сон сразу придет. Что яблочко на яблоньке, то и ты у нас всех. Спи, соколик, спи...

Слушает Иван, и покой на сердце ложится, путается все в голове. Слышит он уж только голос Ульянушки, словно ручей: лепечет он, а слов разобрать нельзя. Да и впрямь это ручей.

Вот бежит ручеек по лугам среди цветов лазоревых, а на бережку он, княжич Иван, на пуховой мураве лежит, и сон его клонит. Только заснул он, долго ли, коротко ли спал, не знает, а видит: жар-птицы летят, а из ручья зверь страшный вылез, в чугунную доску бьет, как сторож, на него прямо наступает, хватает его лапами...

Вскочил Иван в испуге – огнем в окна полыхает, а Ульянушка, трясясь вся, кричит и его за плечи дергает. Набат во всех церквях бьют, со всех улиц слышен крик и вопль человеческий и рев испуганного скота. Бросился Иван, стуча зубами, к окну, а у Чудова, против княжих хором, полнеба в дыму и огне, искры и галки по ветру во все стороны несет, а пламя словно пляшет кругом, шарахаясь из стороны в сторону над тесовыми крышами.

Буря вдруг сорвалась – загудело кругом все, завывало. Словно молнии, огненными полосами заметались по черному небу пылающие головни и летят по всему Кремлю и за кремлевские стены. Занялись почти все посады Заградья.

Душно становится от дыма и гари, жаром издали пышет в лицо, и светло, как днем. Гул, шум и набат. Хруст и треск идет от горящих изб и хором, а человеческие вопли сливаются с шумом и грохотом бури. Дрожит всем телом Иван, а оторваться от окна не может. Видит, целые крыши срывает ветром с теремов и башен, подымает, как огненных змеев, и бросает в улицы и переулки, а там начинает пылать и бушевать новый пожар.

Вдруг запылало совсем близко, дым густой повалил тучей, и на скотном дворе дико заржали и завизжали лошади, громко заревели коровы. Васюк вбежал в опочивальню, схватил Ивана на руки, а Ульянушка Юрия и так понесли не одетыми. На дворе уж одели среди груженных подвод, согнанных ближе к саду и воротам, где не было никаких строений. Тут стояли обе княгини и Константин Иванович, посылая то туда, то сюда ключников и подключников. Слуги, как муравьи, бегали по двору, таская добро из хором и подклетей, сгоняя в сад лошадей и рогатый скот. Светает уж, но зари от огня не видно, да и черный дым, клубясь от бури, заволакивает небо.

– Погребы земляные! – задыхаясь от дыма, налетавшего с ветром, кричит Константин Иванович ключникам. – Погребы полните всем наилучшим! Крыши деревянные ломайте, а тво-рила землей от огня сверху засыпьте.

– Заливай, заливай головню, – доносится по ветру из глубины двора, – сюды вот пала!

– Воды скорей! Давай ведро-то!..

Но ветер меняется, и крики сразу обрываются и гложут. Рвет бурей одежду, ест дымом глаза, спирает дыхание и жаром жжет, как от раскаленных углей...

Софья Витовтовна поманила рукой к себе дворецкого.

– Сказывай слугам, – заговорила она поспешно, – княгиня великая, убоясь-де пожара, едет с детьми ко мне на Ваганьково. Если же, не дай бог, хоромы княжии загорятся, то пусть добро и скот туда, ко мне переводят...

– Государыня, – всполошился Константин Иванович, – ехать ты приказываешь, а где проезд-то есть? Знаешь, что народ деет? А в пожар наипаче все сбились – ни пройти, ни проехать! Из конца в конец мечутся, а старых и малых кони и люди топчут.

– Вели, Иванович, частокол разобрать у нашего двора, чтоб нам в Спасской-на-бору монастырь проехать. Аль забыл, что у чернецов ворота в стене есть?..

– Истинно, истинно говоришь, государыня, – не сдавался Константин Иванович – а дальше как? Куда побежим? У Володимера, у Муромы татары, а может, и к Москве подходят...

– А мы, – хмуря брови, твердо приказала Софья Витовтовна, – мы в другую сторону лесами пройдем. Татары к нам с восходу, а мы от них на заход! – Старая княгиня нагнулась к уху дворецкого и прошептала: – К Дмитрову пойдем, а оттуда к Ростову побежим. Владыке и боярам нашим о том ведомо. Многи вчера уж из града вышли со стражей. Ждут нас за Ваганьковым.

До Тушина от Москвы княжой обоз двенадцать верст в три часа прошел – дорога тут добрая, старый тележник, наезженный. Когда же свернули к Дмитрову на лесные дороги, в чащобы дремучие, трудней стало – ехать пришлось нога за ногу. На каждом шагу болота да топи и хоть гати из бревен и сучьев настланы, а к полудню и пятнадцати верст не проехали. И лошади из сил совсем выбились, и люди, возы вытаскивая, измаялись. Велел Константин Иванович, не распрягая, лошадей из торб кормить, а людям обедать. Выбрали полянку посуше и станом стали.

Княжич Иван слышал сквозь сон, как обоз остановился, как затихли крики и понуканья, перестали скрипеть колеса. Сразу прекратились толчки, и стало вдруг тихо, и хотя люди говорили громко, звякали ведрами, а где-то рубили топором дерево для костров, в лесу все это было как-то отдельно и не мешало лесной тишине. Слышно вот даже, как птичка где-то тихонько посвистывает: тюр-люр-лю, тюр-люр-лю!

Иван с трудом открыл сонные глаза и в окно колымаги увидел меж лохматых лап желтых сосен и темных елей знойное синее небо. У самых вершин деревьев, то прячась, то выглядывая из-за ветвей, пробегали черноглазые рыжие белочки с пушистыми хвостами. Иван хотел разглядеть их получше, но непослушные веки снова крепко сомкнулись, словно склеились.

– Иванушка, поешь курничка, – словно из-под одеяла, услышал он невнятный голос Ульянушки и сразу заснул, будто ко дну пошел.

Разбудили его толчки колымаги на бревнах, когда обоз опять переезжал гать.

– Проснулся, княжич? – окликнул его Васюк, сидевший с ним в колымаге. – Сие, друг, тебе не тележник. На такой дороге не токмо живой, а и мертвый пробудится. – Он вдруг дернулся от неожиданного толчка и поспешно выскочил из остановившейся колымаги на дорогу. – Ах ты, леший ты задери! – ворчал он, подпирая плечом передок колымаги и помогая вознице вытаскивать колесо, завязшее между бревен. Сев опять на свое место в колымаге, он подвинул к княжичу мелко сплетенный короб и ласково сказал: – С испугу-то да устали сколь время ты проспал! Мы и лошадей накормили и сами все пообедали, да и выспались. Возьми вот в коробе-то, там тебе мамка Ульяна и курника, и колобков, и баранины с хлебом, да и сулею с медовым квасом принесла.

Иван быстро поднялся, сел, скрестив ноги калачиком, по-татарски, и набросился на еду. Выглянув в окно своей колымаги, он увидел у самой конной стражи колымагу княгинь, в которой ехал Юрий с Ульянушкой и Дуняхой. Позади же его колымаги по-прежнему ехал перед боярским поездом Константин Иванович с семейством.

Данилка, привстав на колени, выглянул из-за лошади и, увидев Ивана, слегка свистнул и подмигнул ему. Потом мигом соскочил со своей телеги и зашагал рядом с колымагой Ивана.

– Боярские холопы сказывают, – говорил он, торопясь и волнуясь, – малиннику тут страсть! Кругом малина, по всей дороге!

– Верно, верно, Иванушка, – подтвердил Васюк, – кустами пройдешь, бают, и рубаху и порты ягодой очервенишь.

– Отпросись у княгинь-то, Иванушка, – нетерпеливо продолжал Данилка, – мы с тобой ведра два наберем за один мах!

Побежали к княгиням.

Софья Витовтовна позволила, а Марья Ярославна даже улыбнулась впервой, как из Москвы выехали, и сказала нерешительно:

– Аль и мне с вами пойти по малину?

– Сходи, сходи, Марьюшка, – ласково одобрила старая государыня, – разомнись, возьми Васюка, что ли, токмо от поезда нашего не отходи в чащобы и глушь – лес-то незнакомой, всякое может случиться...

– Яз Дуняху да Васюка возьму, да...

– Ай и яз пойду, государыня, – вызвался Илейка-звонарь. – Края сии добре знаю. Недаром Костянтин Иванович из звонарей меня в кологровы приказал, у лошади ныне поставил. Вер-

сты две вот проедем, будет справа Клязьма-река. Проедем вдоль нее верст десять – и озеро Круглое, а за ним через три версты и Нерское озеро. На нем село Озерецкое, где и ночлег наш, государины...

– Ну, идите с Богом, – перебила его Софья Витовтовна. – Вперед обозу зайдите по дороге, к конной страже поближе, а как мы догоним, опять вперед идите. Смотрите, токмо бы позади не быть.

Когда Иван с матерью и прочими сошел с проезжей дороги, из бора пахнуло на него со всех сторон сырым лесным духом. И сосной здесь пахнет, и бузиной, и мятой, и всякими травами, а над головой дятлы пестрые и черные с дерева на дерево перелетают, кору долбят, только стук идет – червяков да жуков ищут. Поползни то вверх, то вниз головой по гладким стволам, словно по ровной земле, бегают. Мелькают в чашах золотые иволги и кричат по-кошачьи...

– Ох, и дух-то легкой какой! – дивуется Дуняха и, всплеснув руками, взвизгивает: – Малинник-то, малинник! Стеной стоит непролазной!

– Сюды, Иванушка, сюды, – кричит Данилка из самой гущи, – страсть ее здесь, малины-то!

С ведром в руках Иван влез в самую гущу кустов, направляясь на голос Данилки. Но скоро остановился, окруженный таким изобилием ягод, что глаза разбегались.

Раздвигая высокие стволы, усаженные тонкими шипами, как щетинками, он непрерывно срывал сочные, душистые ягоды, жадно поедая их одну за другой без разбора, но потом стал выбирать поспелее, а раз, не заметив лесного клопа, взял большущую ягоду-двойняшку, но тотчас же выплюнул ее от вони, наполнившей весь рот. Скоро и совсем перестал есть, а только набирал в ведерко, медленно отворачивая белые снизу листья малины, в гуще которых прятались крупные и сочные ягоды. Его стали теперь больше занимать медленно ползающие по листьям зелено-золотые жуки и большие желто-золотые коромысла, что кружились, мечась по сторонам, или, трепеща крыльями, висели в воздухе на одном месте. Иван забылся, как в сказке, ни о чем не думая среди неясного шороха в бору и в малиннике.

Вдруг впереди себя он услышал очень уж громкое чавканье. Сначала Иван подумал, что это Данилка ест ягоды, но удивился, что тот очень уж гулко чавкает, даже не похоже, что человек ест. Княжич заробел и в нерешительности остановился. В это время позади него зашуршали кусты, и из них вынырнула Дуняха с полным ведром малины. Оглянувшись на нее, Иван ободрился и смелее шагнул вперед, но, раздвинув кусты, замер от страха: перед ним невдалеке сидел на корточках огромный бурый медведь и, обняв лапами, как сноп, несколько кустов малины, жадно хватал пастью ягоды и обсасывал их. Не успел княжич понять, что происходит, как зазвенело у него в ушах от визга Дуняхи.

– Ме-едве-е-едь! – визжала она не своим голосом на весь бор. – Ме-е-едве-едь!..

Иван видел, как страшный зверь вздрогнул, взмахнув лапами, вскочил и, с шумом ломая кусты, скрылся в малиннике, а Дуняха завизжала еще громче. На крик прибежал Васюк, а за ним Илейка с Данилкой и Марьей Ярославной. Иван все еще стоял неподвижно, крепко вцепившись одной рукой в ведерко, а другой – в кусты малины.

– Какой медведь? – кричал Васюк, трясая за плечи Дуняху. – Где медведь?

Девка перестала неистово визжать, но не могла с испуга и слова выговорить. Иван же, все еще держась за куст, медленно поставил ведерко на землю и сказал, указывая дрожащей рукой на притоптанный рядом малинник:

– Здесь малину ел...

– Мати Пресвятая Богородица! – вскрикнула, испугавшись, Марья Ярославна, бросилась к сыну, обняла и заплакала.

– Матунька, матунька, – бормотал Иван сквозь слезы, – да убег медведь! Убег уж, матунька!..

Когда все успокоились, Илейка, сдвинув колпак на затылок, сказал весело:

– Шибко испугался сам-то лесной хозяин. Крику истошного испугался.

Чай, его и посейчас несет...

Старый звонарь подошел к измятым кустам и, смеясь, добавил:

– Ну, так и есть! Тут, где сидел, перву свою печать и положил!..

– К матушке надо скорей, – засуетилась Марья Ярославна. – Всполошилась, верно, матушка-то от крику. Не знай, что подумает! Берите ведра и айда скорей к поезду.

На другой день из Озерецкого княжой и боярский поезда с первыми петухами тронулись к широкому тележнику, что идет от Москвы прямо к Дмитрову. Круто свернув на восток, поспели они к обеду в Выселки, где было положено ждать вестей от отца Александра из Москвы с нарочным, с дьячком его Пафнутием.

– Верст на пятьдесят Москву мы обошли, – говорил княгиням Константин Иваныч, идя рядом с их колымагой.

– А что там, господи, деется! – сокрушенно вздохнул Илейка, правивший лошадыю. – Погорела вся Москва-матушка, окружили ее поганые со всех сторон.

– В Выселках всё узнаем, если отца Пафнутия Господь до нас допустит, – сказала Софья Витовтовна, – отец Александр, коли жив и здоров, отписать обо всем обещался.

– А пошто дьячка отцом зовут? – спросил Иван, сидевший рядом с матерью, – сану ведь у него никакого нет...

– Из монахов он, мой любимик, – отозвалась старая государыня, – пострижение принял, а потому и отец.

– Приедет Пафнутий-то, приедет, – с уверенностью молвил Константин Иваныч, – что ему! Один, без поклажи, верхом проскачет. Коня ему я доброго дал. Чай, ждет уж нас в Выселках-то...

Дворецкий не ошибся. Когда княгини въехали на двор выселковского попа, то у красного крыльца их вместе с поповским семейством встретил и отец Пафнутий.

Пока накрывали столы к обеду, Софья Витовтовна и близкие все собрались в горнице. Дьячок достал из-за пазухи грамоту отца Александра и протянул ее Софье Витовтовне.

– А ты прочти сам, – сказала та, отодвигая бумагу, – пусть все слушают. Стань к окну ближе, светлей будет.

Отец Пафнутий развернул грамоту и, расправив, положил на край стола, куда сверху от высокого открытого оконца широким снопом падал свет, клубясь от пылинок.

– «Государыни и княгини великие, да буде благословение Божие на вас, – начал читать отец Пафнутий, водя толстым волосатым пальцем по строкам. – Толика моя печаль и скорбь душевное, что и словес не имею. Благо вам, прежде сего горького часа отъехавшим, а нам горше видеть печаль на людях, стенания и скорбь неутешимую. Покарал Господь нас за грехи наши и в один день весь град, посады, казну и товары огнем истребил. И не токмо все в граде, что от древес, сгорело, но и церкви каменные распались и стены градные каменные во многих местах упали. А людей многое множество огнем пожгло: и священников, и иноков, и инокинь, и прочих мужей и жен, и детей, понеже бо отселе из града огонь губителен, а из заградия страх от татар; никто не смел за стену выбежать страха ради пред татарами. Когда же огонь пожрал все и стало ведомо всем, что вы, княгини великие, с детьми и боярами своими ушли, граждане в великой скорби и волнении были, видят, что и остальные богатые все да знатные из града сгоревшего бежать хотят. Чернь же, совокупившись в силу единую, начала стены ставить упавшие, врата градные из бревен рубить новые, а хотящих бежать начали бить и ковать в цепи. Так сразу волнение и остановили, и все граждане стали град крепить, а себе пристрой домовные строить, дабы в осаде жить где было. Поганых же агарян с часу на час ждем. Болью и скорбью душа моя истязается, слезы ми очи застилают, как помыслию о вас и княжичах, о князе великом,

о граде и всей земле Московской. Спаси, Господи, и помилуй люди Твоя! Ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. Раб Божий Александр челом бьет».

Голос отца Пафнутия, медленно разбиравшего слова, дрожал и не раз пресекался от волнения, а княгини и прочие плакали.

Вдруг Софья Витовтовна в гнев великом топнула об пол ногой и воскликнула:

– А все зло от Шемяки идет окаянного! Тогда бы на свадьбе Василья не отымать надо было у Васьки Косого великокняжий пояс-то, а удавить их поясом этим обоих с Шемякой!..

Глава 3

У татар

Василий Васильевич проснулся от нестерпимой боли. Жгло ему затылок и шею, а в пальцах правой руки, как ножами, резало. Открыв глаза, увидел он, что лежит на полу монастырской кельи. Серый еще рассвет, словно в щель, мутной полосой врывается в длинное узенькое окошечко, пробитое в толстой каменной стене. В углу, против князя, висит темный образ и теплится синяя лампадка.

Василий Васильевич хотел перекреститься, но не мог поднять руку. С трудом повернул он завязанную тряпицами голову и, терпя лютую муку, все же осмотрел свои раны. Правая рука была обмотана куском окровавленного холста выше локтя, такая же завязка корой засохла на пальцах. Здоровой левой рукой он пощупал эту завязку и, с усилием прогнув ее, нащупал, что двух пальцев не хватает. Вдруг от нажиманья поднялась в руке сразу такая боль, что все помутилось в глазах великого князя, и он без памяти упал головой на жесткое изголовье.

Очнулся он, когда седобородый монах с молодым послушником обмывали и перевязывали ему раны. Боли от обмывания и мазей почти совсем стихли.

– Княже, – ласково говорил монах, обертывая раны, – зело крепок ты еси и млад, и раны твои скоро исцелятся. Верь мне – старый я воин, еще отцу твоему служил в ратях и от юности научился добре врачеванию ран...

Великий князь слегка улыбнулся и промолвил слабым голосом:

– Отец Паисий, да благословит тебя Господь. Узнал тебя, отче. Где же яз и где брат мой, князь Михаила Андреич?

– В Ефимьевом, княже, монастыре, – ответил печально отец Паисий, – и царевичи тут обое: Мангутек и Якуб, а Касим к отцу поехал с сотником Ачисаном. Сотник-то на Москву ездил, твои тельники княгиням отвозил, а государыня Софья Витовтовна, слышь, окуп вельми щедрый обещала за тебя, княже...

Василий Васильевич закрыл глаза.

– Дам потом монастырю кормы многие, земли и льготы, – сказал он тихо, – молитесь Бога обо мне, а сейчас хочу князя Михайлу видеть...

– Еще спит он тут же в келье, княже.

Монахи вышли, а князь неподвижными, широко открытыми глазами, словно потеряв все мысли и чувства, смотрел на порозовевшую полосу света и слушал, как, просыпаясь, шумит монастырь. Вдруг из-за дверей, где стража стоит, до него ясно донеслась громкая татарская речь.

– Царевичи говорят, – услышал он, – что Москва богаче всей Золотой Орды и князя своего любит, а князь храбр и бьется, как барс. Они согласны на окуп.

– А что вот Улу-Махмет скажет, – ответил другой голос. – Сердит он на князя московского...

Звон колоколов к ранней обедне заглушил слова говоривших. Василий Васильевич, чувствуя себя лучше после перевязки, медленно поднялся и встал на колени.

Помогая себе здоровой левой рукой, он поднял правую и перекрестился на икону, висевшую в углу кельи. Потом, обливаясь слезами, распростерся ниц и в скорби великой, с рыданием, воззвал:

– Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты еси спасение рода христианского!

Успокаиваясь, услышал князь великие рыдания рядом с собой и, подняв голову, увидел распростертого князя верейского, Михаила Андреевича, брата своего двоюродного.

– Брате любезный, – сказал Василий Васильевич с тоскою, – оба мы с тобой пьем теперь от горькой желчи, от плена татарского! Будем же настоящими братьями да николи зла друг против друга не помыслим!

– Истинно, брате мой старшой, – ответил князь Михаил, – как крест тебе и сыну твоему целовал, так и буду верен до конца живота своего. Ведь отец Шемяки-то, царство ему небесное, когда Москву взял, силой меня за себя крест целовать принудил! Шемяки же ты бойся...

– Знаю, – перебил его Василий Васильевич и продолжал властно: – Дам татарам какой хотят окуп и за себя и за тебя... Матерь моя опустила уж мне в яму сию конец веревки. Вылезем, брате. Будешь верен мне – многие льготы получишь от дани татарской, и добавлю тебе волостей в Заозерье...

– Вышгород бы мне, брате, – нерешительно попросил князь Михаил, но великий князь продолжал сурово, будто и не слышал его просьбы:

– Ныне нам ина гребта-забота. В Золотой Орде яз, еще малолетний, видел, как верный тогда слуга нам Всеволожский Иван Митрич подарками да посулами, поклонами да прелестью всякой утвердил за мной великокняжий стол...¹⁸

– Уласкал он тогда покорностью царя Улу-Махмета, яко коня норовистого, – подтвердил Михаил Андреевич, – а Юрий Митрич-то ничего не сумел, напрямки ломаясь, требуя свое по старине да по духовной грамоте.

Василий Васильевич нахмурился и, вздохнув, заметил с досадой:

– Тогда Всеволожский-то на приказы да ярлыки царские ссылался, Москву татарским улусом¹⁹ называл, великое княжение мое – царским жалованием! Вспомнит царь теперь о том, когда брат его вызнав, что яз помочи не дал, на него же ратью пошел.

– Вيني в том Юрьевичей: они вышли из твоей воли и самочинно много зла деяли, а когда дурак кашу заварит, и умный не расхлебает.

– Хитростью да посулами вызнать теперь же надо, – перебил его Василий Васильевич, – есть ли мир и согласие у царя с царевичами, али есть в чем у них пререкания и спор.

– Татары не посулы, а бакшиш²⁰ любят, – вздохнув, возразил Михаил Андреевич, – не с пустыми руками в Орду ездят.

Оба князя сокрушенно замолчали, но великий князь усмехнулся вдруг и почти весело промолвил:

– А мы через попов да чернецов втайне серебреца да золотца наберем.

Хватит татарам и на рушвет²¹ и на бакшиш! Давать-то будем не всем, а малому числу, сильным токмо, ибо мал квас, а все тесто квасит.

Через три дня царевичи, получив приказ Улу-Махмета, пошли с войском из Суздаля ко Владимиру. Сам царь, поручив начальствование старшему сыну Мангутеку, пошел прямо к Мурому. С пленными князьями царевичи были милостивы – везли их на скрипучей арбе под плетеным шатром, покрытым белым войлоком. Арбу их тащил огромный нар – верблюд двугорбый с длинной черной гривой.

Оба князя лежали рядом и молча смотрели через отверстие шатра в безоблачную синеву неба или дремали. Говорить было трудно из-за шума великого от криков людей, ржання коней, скрипа колес, бляення баранов, рева быков и верблюдов.

Хотя войско татарское двигалось шагом, а высокие колеса арбы легко перекатывались через бревна гатей и выбоины, Василий Васильевич все же терпел боли от толчков и с завистью смотрел, как спит рядом с ним Михаил Андреевич. Порой, когда дверной войлок у шатра

¹⁸ Стол – престол.

¹⁹ Улус – вассальное владение, зависимое от хана.

²⁰ Бакшиш – подарок.

²¹ Рушвет – взятка.

приоткрывался, Василий Васильевич чувствовал запах дыма, подгорелых лепешек и вареной баранины. Голод мучил его – приближался полдень, время молитвы «зухр» и обеда. С нетерпением он ждал, когда азанча²² прокричит свой «азан» из походной мечети.

Не выдержав, великий князь приподнялся с ложа и, слегка отогнув дверной войлок, чтобы не привлекать внимания конной стражи, стал смотреть на идущее войско. Далеко впереди, за тучей пыли, шли сначала на рысях конники, но теперь они замедляют движение, видимо поджидая обозы. Арба русских князей идет в первом обозе, и Василий Васильевич хорошо видит поблизости многие арбы с нарядными шатрами из ослепительно белого или черного, как сажа, войлока, расшитого всякими цветными узорами. Из разных пестрых тканей и войлока на черном и белом поле шатровых полотнищ изображены и деревья, и цветы, и виноградные лозы, и птицы, и звери. Это – шатры царевичей и жен их. Вокруг них теснятся, сопровождаемые пешими и конными рабами, вооруженными мечами и палками, арбы с кибитками из прутьев с плотной покрывкой из черного войлока, пропитанного насквозь овечьим молоком или салом, чтобы не промокало от дождя. В этих кибитках возят татары всю утварь, одежды и всякие свои драгоценности. Около царских шатров идут пешком и едут верхом молодые и старые женщины – служанки цариц. Дальше, за походной мечетью, которую на огромной повозке везут десять быков, двигаются шатры и кибитки начальников войска и их жен, походные поварни, пекарни, кузницы и прочие заведения, нужные войску.

Все это, замедляя ход, громоздко тянется по дороге и по полям рядом с дорогой и походит на движущийся со всеми жителями татарский улус, и даже, для вящего сходства, дым от очагов медленно ползет из многих шатров, извиваясь в неподвижном знойном воздухе. Жарко и душно. Тени стали уж совсем короткими и прячутся у самых колес повозок и под ногами коней. Солнце стоит прямо над головой, а на закраях полей воздух дрожит, будто переливается над землей водяными струйками.

Вдруг, покрывая уже затихающий шум войска и обозов, где-то вблизи звонко и отчетливо запел резкий гортанный голос:

– Ля-илляхе иль алла Мухаммед Расул Улла!²³

Всадники и повозки сразу остановились, где застал их азан, люди стали привязывать и путать коней, опускать на колени верблюдов, поручая их рабам-иноверцам и женщинам. Остановилась и арба пленных князей. Старый татарин, желая скорее освободиться от заартачившегося верблюда, рванул его с досады за веревку, вдетую в носовое кольцо. Огромный нар яростно заревел от боли и в бешенстве заплел своего вожатого.

– Кукуч итэ!²⁴ – злобно закричал татарин и отбежал прочь, ругаясь и обтирая лапами халата лицо и шею.

Нар остался гордо стоять, встряхивая головой и свирепо следя за своим погонщиком, пока тот не скрылся в толпе, спешившей на молитву...

Все правоверные уже готовились к омовеньям, и каждый выбирал себе такое место, чтобы обратить лицо во время намаза²⁵ на восток, к священному городу Мекке.

Постепенно стихло все становище, и Василий Васильевич услышал позади себя густой храп. Разбудив князя Михаила, он сказал ему:

– Сей часец намаз у них полуденный – зухр. Потом обедать будут. Нам тоже пришлют ествушки, а по ней мы узнаем, как они нас чтут. Токмо не забывай, брате, одного – скрыть пока надо, что яз добре разумею татарскую речь. Будем, как и ране, через толмача говорить с татарами, дабы они, говоря меж собой, меня не остерегались...

²² Азанча – духовное лицо, выкрикивающее с минарета мечети «азан» – призыв к молитве.

²³ Нет Бога, кроме Бога, а Магомет пророк его.

²⁴ Собачье мясо!

²⁵ Намаз – молитва.

На этот раз татары торопились к граду Владимиру, и пища у них была приготовлена еще в пути, на арбах. Шатров же не снимали на землю, кроме царских. После обеда войско должно было выступать в поход без замедления. Так понял Василий Васильевич из приказаний десятников, кричавших с коней своим людям, охранявшим обозы.

– Торопятся татары-то, – сказал он Михаилу Андреевичу, – уж не к Москве ли хотят? Вызвать бы все поскорее! Бакшиш опять нужно дать.

– А много ль осталось у нас от даров-то Ефимьева монастыря? – печально заметил князь Михаил. – Зря мы Ачисану кубок серебряный дали да чарку...

– А яз ему еще и золоченую чарку дам, – строго и сердито проговорил Василий Васильевич. – Время мне дороже серебра и золота! Ежели царевичи али Шемяка казну мою на Москве захватят, кто нас с тобой у татар выкупит? Надо матери весть скорей послать...

– Ну, за старую-то государыню, – возразил князь Михаил, – страху у меня нет. Ни Шемяка, ни татары ее не обманут. Она, поди, со всем семейством твоим и казной давно из Москвы выбежала.

– Дай-то Бог, – уже спокойнее отозвался Василий Васильевич.

Свершив полуденный намаз, снова зашумели татары по всему стану – поили коней, обедали, пили кумыс. Шумели, однако, недолго. Солнце пекло и, размаривая, манило к привычному послеобеденному сну. Постепенно стихало кочевое становище, и только кое-где еще тянулись лениво в знойном воздухе однообразные, как степи, бесконечные татарские песни и сонно жужжали, вторя им, маленькие кобызы, крепко зажатые в зубах степных музыкантов. Коршуны и ястребы кружили над стоянкой, высматривая отбросы. Иногда тень птицы стремительно пронеслась над станом, словно чертила углем по сухой траве и белой кошме шатров.

Вдруг совсем близко зазвучал тихий, молодой голос, и полилась, как ленивый ручеек, степная печальная песня. Защемило сердце Василию Васильевичу, слезы навернулись на глаза, а в мыслях повторялись простые слова: Желтый-желтый, изжелта-желтый, желтый цветок на стебельке; Так и я от тоски пожелтею, да и как не желтеть, когда нет вести с приветом...

Вспомнилась великому князю его Марьюшка с большими темными глазами, и сыночки любимые, и старая матушка, и Кремль, и храмы Божии... Замирает сердце от боли и тоски, но держит себя князь – не годится все плакать, надо из беды выпутываться.

– Не мыслю, что пришлют сегодня нам поесть, – печально говорит князь Михаил. – Хоть бы краюху сухого хлеба...

– Недоброе знаменье, – добавляет Василий Васильевич. – Боюсь за Москву и за семейство...

Затопали кони около арбы князей, прискакал сотник Ачисан с тремя нукерами.²⁶ Перелез с коня Ачисан на арбу, поднял войлок у дверей шатра и приветливо крикнул по-русски:

– Князь великий, «салям»²⁷ тебе от царевича Мангутека и угощенье от стола его...

– Да живет хазрет²⁸ Мангутек два девяноста лет! – воскликнул Василий Васильевич. – Друзья его – наши друзья, враги его – наши враги!

– И вы, князья, живите сто лет, – ответил Ачисан и, вползая в шатер, весело крикнул своим нукерам по-татарски: – Давайте сюда жалованное ханом!

Он поставил на кошму перед русскими пленниками дымящийся котел с вареной бараниной, несколько испеченных в золе пшеничных лепешек и большой кувшин с кумысом. Василий Васильевич в знак вежливости и благодарности приложил руку ко лбу, к устам и к груди, поклонившись Ачисану. Потом он достал из-за пазухи серебряную золоченую чарку и поставил ее перед молодым сотником. Михаил Андреевич достал из-под кошмы две простые дере-

²⁶ Нукеры – телохранители хана и его конная стража.

²⁷ Салям – привет.

²⁸ Хазрет – почетный титул.

вянные чарки – себе и великому князю. Василий Васильевич вынул из котла лучший кусок мяса и, положив его на лепешку, передал Ачисану. Делая все это, великий князь думает, за чье здоровье пить с Ачисаном – за царя Улу-Махмета или царевича Мангутека? Пока ели баранину, он несколько раз переглядывался с Михаилом Андреевичем. Руки у него дрожат, а в груди холодок бегаёт. «Ошибиться нельзя, потом не поправишь», – вертится у него в мыслях, а выбора никак он сделать не может. Давно он уже почуял, что у царевича старшего нелады с отцом, а кто вот сильнее из них окажется? Да и кому Ачисан по-настоящему служит?

Василий Васильевич с тревогой смотрит, как быстро съедает сотник баранину, приближая время здравицы. Задержать нельзя ему трапезу, а и решенья все еще нет. Выбросив объеденные кости из шатра прямо на землю, Ачисан уже трижды отрыгнул из вежливости и обтер жирные пальцы о голенища сапог. Доели и князья свою долю. Тряхнув головой, зажмурил на миг глаза великий князь и схватился за кувшин с кумысом, а когда налил всем в чарки, то вдруг сорвалось у него с языка само собой:

– Да будет удача хану Мангутеку в делах его! Да не отступит никогда от него счастье!

Великий князь вдруг помертвел весь, когда увидел засверкавшие от смеха глаза и белые зубы Ачисана, но сейчас же оживился, услышав ответ молодого сотника:

– Да будет так! Потерпим. Терпение – ключ счастья, а без счастья и в лес по грибы не ходи!..

– Что будет, то будет, как Бог даст, – сказал Василий Васильевич и добавил: – Ежели царевичи верят в дружбу нашу, то пусть соединятся с нами – сие для всех нас будет добро...

Ачисан нагнулся к великому князю и тихо сказал:

– Бойся царя Улу-Махмета, но помни – кусаются комары до поры. Придет пора и Улу-Махмету.

Когда выпили кумыс, Василий Васильевич спросил Ачисана:

– Где так хорошо научился ты говорить по-русски?

– Отец мой от Золотой Орды много лет торговал конями в Твери, – ответил Ачисан, подымаясь с кошмы.

– Чарку свою забыл ты, Ачисан, возьми ее на память. Сие – подарок.

Приняв золоченую чарку и приложив ее к сердцу, Ачисан поклонился и сказал:

– Бик кюб ряхмет,²⁹ государь, за дорогой подарок. Жди через меня добрых вестей, да поможет тебе Аллах и святой Хызр. Царевичи любят тебя... – Он помолчал, улыбнулся и, глядя прямо в глаза великому князю, добавил совсем тихо: – Надейся, княже, на хана Мангутека. Улу-Махмет – да живет он сто лет – голова, а молодой хан Мангутек – да будет бехмет³⁰ во всех делах его – шея! Шея же, государь, может повернуть к тебе голову лицом, а не затылком.

Василий Васильевич понял намек и, чтобы крепче в том утвердиться, сказал усмехнувшись:

– А яз вот сам себе и голова и шея, да только не знаю, что раньше случится: можно или голову, или шею свернуть. Все в руках Божиих.

Говоря это, смотрел Василий Васильевич пытливо в застывшее сразу, словно окаменевшее лицо ханского сотника. Тот молчал, но в глазах его вспыхивали искорки, и вдруг лицо татарина заулыбалось, а косые глаза совсем спрятались в узеньких щелках.

– Умен ты, княже, – воскликнул Ачисан, – и видишь многое, что и в Орде не все видят! Знай токмо: если шея молода да крепка, ее не свернешь, а если голова, хоть и не стара, но худая, то легко ее потерять.

Василий Васильевич утвердительно кивнул, потом снял с пальца золотой перстень с дорогим яхонтом и, подавая его Ачисану, сказал:

²⁹ Очень благодарен.

³⁰ Счастье.

– Бью челом брату моему, хану Мангутеку.

Татары, разбив под Суздалем московское войско и пленив великого князя, все же действовали весьма осторожно. Перейдя реку Клязьму у Владимира, царевич Мангутек стал станом у самых стен его, но на приступ идти не решался. Узнав же от лазутчиков, что владимирцы биться готовы насмерть, в эту же ночь повернул Мангутек коней к Мурому, пошел к царю Улу-Махмету.

Русские князья уразуметь не могли, что происходит в Казанской Орде.

– Не берет сила поганных, – говорил князь Михаил, – а награбили у Суждаля много да по пути сколько сел полонили. Боятся награбленное растерять. На нас вымещать будут...

Василий Васильевич молчал. Четвертые сутки, катаясь по войлочному полу шатра, тщательно вспоминал он под скрип арбы, влекомой злобным наром, все, что слышал из разговоров татар, что понял из намеков Ачисана. Многое из умыслов и дел татарских казалось ему знакомым, таким, как на Руси бывает, где все враждуют друг с другом: отцы с детьми, дяди с племянниками, братья с братьями.

– А может, – заговорил он раздумчиво, – Мангутек, идя на отца, полки свои против него готовит, силы свои бережет...

– А нам-то что, – отмахнулся князь Михаил. – Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Будет нам в чужом пиру похмелье: и слева будут бить, и справа будут бить!..

Василий Васильевич усмехнулся.

– Вспомнил яз мать свою, Софью Витовтовну. Она бы тебя за вихры отодрала за «чужих» собак да за «чужой» пир! Что бы у чужих ни случилось: война или мир, добро или худо – все должно идти Москве на пользу. Для Москвы везде все свое. «Сумей, – говорил мне один отцовский боярин, – во всяком чужом деле свое найти».

При этих словах дверной войлок отодвинулся, и в шатер просунулась голова сотника Ачисана.

– Слышал я твои, княже, слова, – сказал он, усмехаясь, – верно это. Наш любимый хан Мангутек, да живет он сто лет, так же говорит о своем и чужом. В Муроме, вон уж видать его, отведут тебе, княже, чистую горницу, и хан пришлет к тебе брата своего Касима. Царь Улу-Махмет там уж с войском стоит, но ты не беспокойся. Если что нужно тебе наместнику твоему и воеводе передать либо попам, скажи мне...

Князья переглянулись, и Василий Васильевич весело ответил:

– Пришли мне дьякона из церкви Кузьмы-Демьяна, отца Ферапонта.

Ачисан слез с арбы и ускакал со своими нукерами догонять хана Мангутека, ехавшего впереди войска с лучшей своей тысячью.³¹

Выглянув из шатра, Василий Васильевич увидел на высоком левом берегу Оки хорошо знакомый ему деревянный Муромский кремль за крепкими дубовыми стенами с проезжими и глухими башнями. Ниже кремля видно было муромский посад и слободы ремесленников, а кругом шатры татарские и обозы.

Ранняя июльская заря румянила речную гладь, весело играла на тесовых кровлях и багровила дым печной – христиане уже проснулись, готовили пищу, – а солнце еще и не показывалось. У татар – это самое время для утренней молитвы. Звонко вот в свежем воздухе уже разносится азан, и войсковой обоз царевичей постепенно затихает и останавливается, останавливаются один за другим и отряды конников...

После намаза вдоль всего берега реки запылали и задымили костры. Войска присоединились к войскам, окружавшим Муромский кремль, а царевичи и начальники войска разместились в лучших хоромах муромского посада. Великого князя с князем Михаилом поместили у богатого, еще молодого, муромского купца Сергея Петровича Шубина, торговавшего с булга-

³¹ Тысяча – так называлось воинское подразделение у татар, состоявшее из десяти «сотен».

рами на Каме и с Золотой Ордой на Волге. В его хоромах все было богаче и лучше, чем у многих подручных князей Василия Васильевича.

Умывшись и обрядившись, князья прошли с хозяином в крестовую, куда татарская стража не входила, оставаясь у дверей. Помолившись с земными поклонами, князья и хозяин приложились ко кресту и иконам. Потом Сергей Петрович поклонился до земли великому князю.

– Господин и государь мой, – сказал он, откидывая после поклона упавшие на лоб кудри, – благодарения ради отпоем мы Господу Богу в сей часец молебен о твоём здравии и спасении из полона. До обеда мы тут побеседуем о делах твоих. Муром татары не трогают, но наместник твой и воевода в кремль их не допускают.

– Подождем здесь, в крестовой, отца Ферапонта, – молвил Василий Васильевич. – Ачисан хотел его сам позвать...

– Ведомо мне о сем от Ачисана, государь мой, а посему и повел тебя в крестовую, дабы от татар быть подальше.

Василий Васильевич задумался и, крутя свою курчавую бороду, молча сел на подставленный ему столец. Против него почтительно стоял высокий и статный Сергей Петрович в нарядном кафтане со ткаными по нему золотом львами. Василий Васильевич взглянул на него и улыбнулся: густая пушистая бородка у Шубина точь-в-точь как у князя Михаила Андреевича, и такая же, как лисья шерсть, рыжая.

– Что ж, Петрович, – ласково промолвил великий князь, – рассказывай, о чем твои мысли.

– Государь мой, – заговорил Шубин, – вороги твои в вину тебе ставят не токмо твою дружбу с татарскими князьями, а даже твое разумение татарской речи.

– Ну а ты? – резко спросил Василий Васильевич.

– Я разумею твои умыслы, государь, а потому стою за дружбу не токмо с князьями, а и с царевичами казанскими. Нам надобно, как в старинах поется про Илью Муромца: «Стал ён бить татар татаринком...»

Василий Васильевич весело рассмеялся и громко сказал Шубину:

– Верно, Петрович! Вся суть в сем. Отец мой, Василий Митрич, литовских князей ласкал да вынашивал на Литву, как соколов на лов, а яз татар хочу...

В сенцах перед крестовой гулом прокатилось могучее откашливание и криканье.

– Отец Ферапонт! – обрадовался великий князь.

В горницу вошел богатырь с длинной черной бородой, с густыми усами и такими же густыми бровями. Он снова громко крикнул, и в ответ ему что-то зазвенело в покоех. Истово помолвившись на иконы, поклонился он князьям и хозяину.

– Будь здрав, государь Василь Василевич, – прогудел он, словно в большую трубу, – и ты, князь Михайла Андреич, и ты, Сергей Петрович...

Из-за огромной спины дородного отца Ферапонта вытянулось на длинной шее морщинистое бородатое личико маленького, сухонького попака.

– Не реви ты, медведь, – ласково попенял попик отцу дьякону, – оглушил ты всех, яко Соловей-разбойник!

Отец Ферапонт смутился и виновато улыбнулся, пропуская попака. Тот скромно выступил вперед и быстро поклонился князьям, мелькнув перед глазами белой пушистой, как одуванчик, головкой.

– Аз есмь раб Божий Иоиль, – сказал он, – иерей и настоятель храма святых отец наших Космы и Дамиана.

Князья подошли к нему под благословенье, а потом и хозяин хором, поклонившись отцу Иоилею с особым почтением. Василий Васильевич впервой видел маленького попака, и голос отца Иоиля умилил его.

– Княже, – с ласковой грустью говорил попик, глядя в лицо Василию Васильевичу большими, по-детски ясными глазами, – князь наш великой московской, не сокрушайся. Бог нам всем поможет. Сын мой духовной Сергей многое откроет тебе, государь, а также спасения ради и на благо всего христианства русского и аз, раб Божий...

Отец Иоиль низко поклонился Василию Васильевичу, коснувшись правой рукой самого пола крестовой, и продолжал:

– Коли угодно тебе, государь, совет держать, то почнем беседу до молебной, пока царевич Касим не пришел... И скажи, государь, как раны твои и как здравие?

– Раны мои по милости Божией затянулись, – сказал Василий Васильевич, – здравие слава богу, – хожу, видишь. Ноги-то у меня целы были, а на темени и шее хотя болит, но уж совсем заросло. Токмо вот пальцы обрубленные кровоточат еще. Правду предрек мне отец Паисий в Ефимьевом монастыре, и мази его вельми добры. Ими токмо и облегчение знаю. – Великий князь помолчал и, оглядев суровыми глазами обоих духовных и Шубина, вдруг гневно спросил: – А как же сие случилось, что татары Муром наш не воевали и вам всем ни зла, ни полона не содеяли? Ни посада, ни слобод не жгли, а князя великого в полоне держат?

Великий князь ярый, но отходчивый. Порой он вдруг распалялся и все более ярился, готовый убить даже, но чаще стихал неожиданно, и гнев враз отходил от его сердца. Зная об этом, отец Иоиль спокойно и молча стоял, не спеша с ответом.

Шубин же, оробев, поклонился до земли и заговорил:

– Государь великий! Воевода твой, ведая о полоне твоём, с благословенья отцов духовных челом бил царю Улу-Махмету об окупе, дабы он ни граду, ни посадкам, ни слободам зла не чинил. Сам же наш воевода ворот татарам не отворял. У воеводы твоего и войско, и пушки на стенах стоят, и стража денно и ночью смотрит... – Тут совсем оробел купец и смолк. Потом, снова кланяясь земно и обращаясь к седовласому попику и к дьякону, молвил: – Отцы, скажите все князю великому, что думой нашей удумано и что у татар деется! Вы же люди ученые, книгами начитаны.

Отец Иоиль поправил спокойно крест на груди и, обратясь к Василию Васильевичу, начал голосом ровным и тихим, якобы продолжая свои, а не купцовы речи:

– Царь же Улу-Махмет, хотяще три тысячи рублей, отступился потом и токмо едину тыщу взял. Сведая о том, что уразумели, что царю нужны и деньги и вои, а сведая еще и о том, что Улу-Махмет отделился от сыновей своих...

– Старшего, Мангутека, боится он, – вставил Василий Васильевич, усмехаясь. – Мангутек же на отца идет, силы копит.

– То же и нам ведомо, государь. Посему решили и мы свои силы хранить и дали окуп за Муром... – Отец Иоиль помолчал и, строго посмотрев на великого князя, добавил: – А тебе, государь, зело много нужно хитрости и разума, дабы из полона тебя отпустили. Изгони из себя ярость и скороверность всякую, чтобы татары умыслы твои не вызнали. А мы же тебе, княже, две тысячи рублей да сосуды златые собрали на бакшиш и рушвет. Разумно твори все. Семь раз отмерь – один раз отрежь. Ачисану верь, а об Улу-Махмете помни. Царь тоже не без ушей и не без глаз...

– Ачисан-то и меня сюда позвал, – не выдержав, загудел отец Ферапонт, – а я без отца Иоиля не пошел, княже. Деньги же и сосуды у меня, вот они.

Шубин в испуге замахал руками на отца Ферапонта, показывая на двери.

Дьякон зажал рукой себе рот и робко оглянулся на отца Иоиля, а купец, оправившись от волнения, тихо сказал великому князю:

– Пусть, княже, татары грызутся, а мы будем...

– Бить татар татаринном, – весело усмехнулся Василий Васильевич, пряча за пазуху и по карманам все, что, оглядываясь на двери, украдкой передавал ему дьякон.

Подходил уже к концу молебен о здравии великого князя и освобождении его из полона. Густой голос отца Ферапонта зычно гудел, рыканьем львиным гроыхая по всем хоромам.

– Бугай, настоящий бугай, – дивовались нукеры из стражи, теснясь к дверям крестовой.

– Да и у бугая горла на такой рев не станет, – говорил десятник, причмокивая от удовольствия. – Ишь, ишь, как ревет! Он и самого голосистого азанчу заглушит.

Василий Васильевич с умилением слушал своего любимца, которого за голос хотел давно уж у владыки в Москву просить, да за недосугами и бранями не успел. Стоя на коленях, усердно молился он о своем спасении, а когда пошел приложиться к кресту, услышал шум в сенцах и говор татар.

Шубин последним принял благословение отца Иоиля и, быстро выйдя в сенцы, тотчас же вернулся. Кланяясь низко, пригласил он князей к трапезе и, обратясь к великому князю, тихо добавил скороговоркой:

– Царевич Касим дошел к нам. Тобя, государь, хочет... В покое моем у стола, увидишь, поставцы стоят – возьми там, не обидь, кубок фряжский с камнями. Дай его от себя царевичу Касиму.

– Спаси Бог тебя на добром деле, – промолвил великий князь, – послугу твою не забуду.

– Не гости хозяину, а хозяин гостям челом бьет, – поклонившись, сказал Шубин и повел всех в трапезную.

В трапезной царевич Касим сидел за столом на скамье, а у ног его на блеклом персидском ковре сидел Ачисан. При входе великого князя Ачисан быстро вскочил на ноги. Царевич Касим, еще молодой человек со светлыми подстриженными усами и маленькой бородкой, тоже поднялся со скамьи и поклонился Василию Васильевичу.

– Ассалям галяйкюм,³² – проговорил он почтительно.

– Вагаляйкюм ассалям,³³ – ответил великий князь и пригласил царевича к столу хлеба-соли откусать.

Отец Иоиль, благословив князей и Сергея Петровича, удалился вместе с отцом Ферапонтом, а сотник Ачисан встал позади царевича – он оставался при трапезе толмачом. Сам хозяин тоже не сел за стол, а вместе с дворецким своим услуживал князьям и царевичу. Когда выпили из кубков заздравных заморского доброго вина за здоровье царя казанского и великого князя московского, за царевичей, за князя Михаила, царевич Касим сказал, улыбаясь:

– В конце твоей, княже, молитвы, – переводил его слова Ачисан, – услышал я здесь такой великий и грозный голос, какого никогда я не слыхал.

– Хочу яз его, – смеясь, ответил Василий Васильевич, – если Бог даст, в Москву к себе взять. Многих из дьяконов слушал, поскольку к пеню церковному задор великий имею, а такого голоса, как у отца Ферапонта, даже и яз не слыхивал...

Великий князь за столом развеселился, царевич Касим ему нравился, а кроме того, мерещилось ему, что Касим хочет сказать многое, да Ачисан мешает. Раненый и в полон взятый, Василий Васильевич шутил и смеялся, как дома у себя на пиру. Всегда такой был он открытый: и в гневе, и в радости, и в печали. Любили его за это.

– Люб ты мне, княже, – сказал царевич, – радостно с тобой хлеб-соль делить...

Василий Васильевич ласково улынулся и, прежде чем Ачисан успел перевести его слова, неожиданно заговорил по-татарски, как настоящий татарин:

– Люб и ты мне, царевич! Ты видишь меня в несчастье, а в счастье я буду еще веселей и гостеприимней. Жизнь наша изменчива. Бугэн миндэ, иртэгэ синдэ.³⁴ Судьба каждого в книге Фальнаме,³⁵ да не каждый толкователь гаданий может угадать судьбу.

³² Мир с тобой.

³³ С тобой мир.

³⁴ Сегодня это – со мной, завтра – с тобой!

Касим и Ачисан переглянулись с изумлением. Великий же князь, видя это, усмехнулся и продолжал по-татарски:

– Я же и не люблю гадать, ибо сказано еще: «Мы привязали к шее каждого человека птицу...»³⁶

– Ты говоришь так хорошо и красиво, – воскликнул царевич Касим, – словно долгие годы сидел у ног улемов!³⁷

– Памятлив я очень, – смеясь, сказал Василий Васильевич, – и помню все, что слышу и вижу... – Встав из-за стола и подойдя к поставцу, он достал оттуда кубок итальянской работы с камнями и подал его, поклонившись, царевичу. – Бью челом тебе, а будешь гостем у меня на Москве – встречу, как друга...

Царевич поблагодарил, потом, улыбаясь, обратился к великому князю:

– Брат Мангутек будет рад поговорить с тобой без толмачей. Он любит говорить быстро, а хуже нет, когда о твоих мыслях говорит чужой рот. Мы с тобой сей же час поедем к брату. Ачисан опередит нас, скажет хану Мангутеку, что мы придем следом.

Ачисан молча поклонился и вышел. Царевич Касим проводил его взглядом и, выждав некоторое время, сказал тихо Василию Васильевичу:

– Знаю я, что тебе ведомо о спорах брата с отцом. Любя тебя, скажу: берегись ты и Улу-Махмета и Мангутека. Мы с Якубом стоим в стороне. Нам обоим лучше уйти от них, и мы хотим твоей дружбы и помощи и сами поможем тебе...

Царевич быстро выхватил кинжал из-за пояса своего турецкого кафтана и взял его одной рукой за конец клинка, а другой – за конец рукоятки.

– Клянусь на том Аллахом! – воскликнул он и приложил ко лбу клинок кинжала и потом поцеловал его. – Только смерть моя и твоя воля могут нарушить эту клятву!.. – Спрятав кинжал, он встал из-за стола и добавил: – Нас не должен долго ждать хан Мангутек. Я проведу тебя, князь, в братний шатер, что стоит в поле среди шатров его тысячи.

У ханского шатра царевича Касима и Василия Васильевича встретил Ачисан. Откинув белый дверной войлок, расшитый цветными узорами – зверями и птицами, – ханский сотник пригласил войти великого князя московского. Следом за ним вошел и царевич Касим. Молодой хан встретил их, сидя на пушистом ковре среди шелковых подушек. Князь и царевич низко поклонились ему, и Василий Васильевич сказал:

– Ассалям галяйкюм, хазрет Мангутек, брат мой...

– Вагаляйкюм ассалям, – милостиво ответил Мангутек и пригласил вошедших сесть.

Василий Васильевич последовал примеру Касима и сел слева от входа на кошму перед ковром хана. Несколько мгновений длилось молчание, и великий князь внимательно рассматривал острое хищное лицо Мангутека, мало схожее с лицом Касима. Молодой хан щурил злые рысьи глаза и ласково улыбался.

– Спасибо, князь, – сказал он, наконец, – за подарки, особенно за перстень с этим красивым кровавым яхонтом. Думаю, камень этот из Индии.

– Говорят, – ответил Василий Васильевич, – что яхонт этот, горячий и влажный, как звезда Муштари,³⁸ приносит счастье и все благое...

– Слушаю тебя, – перебил его Мангутек, – и дивуюсь, где ты так научился хорошо говорить по-татарски!

³⁵ Книга гаданий.

³⁶ Изречение Магомета, смысл которого таков: «Мы дали каждому человеку определенную судьбу».

³⁷ «Сидеть у ног улемов (учителей)» – получать мусульманское богословское образование.

³⁸ Планета Юпитер.

– Отец мой, Василий Димитрич, сын Димитрия Донского, хорошо разумел по-татарски. Когда же весной шесть тысяч восемьсот девяносто первого³⁹ года поехал он по воле отца заложником в Золотую Орду к хану Тохтамышу, то пробыл там два года... Не всякий татарин так умел говорить, как отец мой. У него и я научился в детстве еще. После же смерти отца я тоже был в Золотой Орде, где от отца твоего, царя Улу-Махмета, получил тогда ярлык на великое княжение...

– Отец зол на тебя, – опять перебил Мангутек великого князя, – за то, что ты пошел войной на него, а он ведь помог тебе против дяди Юрья Димитрича! Теперь же хочет он помочь сыну его, Димитрию Шемяке.

– Его воля! – воскликнул Василий Васильевич. – Москва все равно не примет Шемяку и прогонит его, как и отца его Юрья Димитрича. Если царь хочет выгоды и богатства, пусть мир и дружбу со мной ведет – Москва за меня и все города княжества Московского. Москва богаче Золотой Орды, да и сильнее, а Москва да Казань и того больше. Никакая орда Казань не тронет, если дружба и союз будет у нее с Москвой!..

По знаку Мангутека слуги поставили на ковер перед ханом серебряные блюда с пловом, подносы с лепешками, малые блюда с халвой и с желтыми кусками ноздристого сдобного сладкого кулича, пахнущего шафраном. Налили потом кумыса в золоченые чаши и крепкого меда в золотые чарки.

Хан гостеприимно пригласил сесть около себя на ковер Василия Васильевича и своего брата Касима. Они выпили за здравные кубки за царя и царевичей и за великого князя. Потом молча поели они плова и всяких сладостей.

– Повар мой, – весело проговорил Мангутек, заедая пышным куличом сладкий изюм и урюк, – долго жил в Хорезме, там всему научился...

– Плов хорош, – рыгая по обычаю татарскому, хвалил Василий Васильевич, – а с халвой и куличом язык проглотишь!..

Омыв руки после еды, царевич Касим попросил разрешения уйти. Василий Васильевич остался с глазу на глаз с Мангутиком. Снова прищурился по-рысьи молодой хан и ласково заулыбался.

– Хазрет Васил, – начал он мягко и вкрадчиво, будто шел по-кошачьи, – от Ачисана все мне известно. Мне кажется – ты понял меня.

– Понял, хазрет Мангутек, да будет беxмет в делах твоих. Что мне надобно, ты знаешь тоже. Мать говорила об окупе, а я скажу совсем точно: сколько дам царю, столько и тебе. Если ж случится неудача у тебя, то путь в Москву тебе всегда открыт, как брату! Будут тебе и братьям твоим вотчины и кормленья.

– «Кто упоает на Аллаха, тому он – довольство. Аллах свершит свое дело!..»⁴⁰ Неудач не будет у нас...

Мангутек хотел еще что-то добавить, но сдержался и замолчал. Василий Васильевич допил свою чарку и поклонился хану. Потом достал из-за пазухи золотой обруч, осыпанный камнями самоцветными, и, подавая хану, сказал:

– Прими в знак дружбы и верности этот подарок для своей ханши.

Хан милостиво принял подарок и воскликнул, прикоснувшись рукой к своей бороде:

– Аллах свидетель, что я обещаю тебе дружбу и сделаю все, чтобы отец принял твой окуп!

Отпуская великого князя с Ачисаном, Мангутек сказал ему, что завтра с утра выступают татары и пойдут к Нижнему Новгороду старому... Когда Василий Васильевич возвращался в сопровождении Ачисана и его нукеров в хоромы купца Шубина, в посаде встретил его маленький попик.

³⁹ 1383 год.

⁴⁰ Изречение Магомета.

– Отец Иоиль! – крикнул ему великий князь. – Благослови меня в путь! Завтра уходят татары.

Священник поспешил к нему и, благословляя, сказал:

– Когда милостию Божией вернешься в свой стольный град, вспомни слова мои, что самый верный тебе доброхот и покровитель – отец Иона, владыка рязанский...

Глава 4

В Галиче Мерьском⁴¹

У себя в хоромаш, в передней своей, сидел князь Димитрий Юрьевич запросто с князем можайским Иваном Андреевичем и дьяком своим Федором Дубенским. Пили водки разные и меды – любит Шемяка гульнуть, попить-поесть и гостей угостить.

– Хоть не богат, – смеется Димитрий Юрьевич, – а гостям рад! У меня кубок на кубок, а ковш вверх дном! Гуляй душа нараспашку.

Выпил князь. Весел как будто, но красивые глаза его злы и не ласковы, бегают, ищут что-то и никому не верят, и сам он как-то весь суетлив и беспокоен. Росту хоть малого, но ловок и поворотлив, только вот черен весь: и кудрями, и бородой курчавой, и даже лицом темен. На галку похож, как бы и не русский.

Князь Иван Андреевич весело чокнулся с хозяином и промолвил:

– Не дорога гостьба, дорога дружба! Будь здрав, Митрий Юрьич.

Он выпил чарку, заел хлебом с тертым хреном, хитро подмигнул дьяку Федору и с ним тоже чокнулся. Грузный и рыхлый, как брат его Михаил, что с великим князем в полон к Улу-Махмету попал, Иван Андреевич не был, как тот, прямодушен, а всегда и всюду лукавил.

– Вот на Москве, – добавил он, – не столь нас потчуют, сколь неволят...

– Тамо, господине, – ухмыляясь в седеющую бороду, живо откликнулся дьяк Федор Александрович, – тамо и не рада курочка на пир, да за хохолок тащат...

– Ха-ха! – резко и зло рассмеялся Шемяка. – Там оглянуться не успеешь, как ощиплют и съедят! Вот и князь Василий меня все потчевал тем, чего яз не ем!..

– У Москвы, – продолжал дьяк, усмехаясь, – брюхо в семь овчин сшито. Гостей угощают да и самих с угощением жрет. Поди ж ты, сколь себе в брюхо князья московские навалили. Данил Лександрыч Переяслав заглотнул, как щука. Юрий Данилыч захватил Можайск да Коломну; Калита – Белозерск, Углич да Галич наш; Донской – Верею, Калугу, Димитров да Володимерь; Василь Митрич – еще того боле: Муром, Мещеру, Новгород Нижний, Городец, Тарусу, Боровск, Вологду, а Василь Василич и своих всех удельных заглотнуть хочет...

– Да на мне подавится! – стукнул кулаком по столу Шемяка и налил всем водки по большой чарке. – Пейте, да дело разумеите. Если мы, удельны, не задавим Василья, то он нас, как волк ягнят, перережет, с костями и кишками сожрет!

– Не при на рожон, государь мой, – начал вкрадчиво дьяк, – лучше ползком, где низко, да тишком, где склизко. Сильна Москва-то...

У Шемяки ноздри раздулись, побагровел он весь и, сверкнув злыми глазами, крикнул резко на дьяка:

– Не учи сороку вприсядку плясать!

Но Федор Александрович не испугался, знал князя своего, недаром любимцем был.

– Ин по-твоему быть, государь, а о пляске ты ко времени напомнил. Поедем ко мне, вдовцу веселому, хлеба-соли покушать, лебедя порушить... – Он нагнулся к Шемяке и громким шепотом добавил: – А там поплясать да белых лебедушек поимать. Новая плясовая есть! Вдосталь попляшем. Да и гость наш, хошь женатой, а на чужой стороне – все равно что вдовой, а девок да молодич всем хватит...

Он обвел молодых князей смеющимися, такими разгульными глазами, что захотелось им сразу горе веревочкой завить. Дьяк подождал, ухмыльнулся и поднял свою чарку:

– За лебедушку белую, за любовь твою Акулинушку выпьем!

⁴¹ Мерьский – по имени коренного населения Галицкого княжества – мерь.

Шемяка улыбнулся, чаще задышал и вялый Иван Андреевич – знал, по греху, и он про хоромы Дубенского, что тот себе построил, а от других про это таили. От княгини своей Акулинушку прячет там Шемяка. Совестно князю – сыну Ивану уже восьмой год пошел.

– Змей-искуситель, – шутит, развеселившись, Димитрий Юрьевич, – во ад тропку мне пролагаешь...

– И-и, государь мой, – усмехнулся Федор Александрович, – обоим вам по двадцать пять, а мне без малое одному столь, сколько вам вместе, а и то не тужу. Мне и здесь с Грушенькой рай, а там-то кто еще знай!..

В усадьбу к Федору Александровичу приехали засветло – солнце еще высоко стояло, только тучки чуть по краям розоветь начали. Грушенька с Акулинушкой гостей у красного крыльца встречали и сразу пошли все в столовую, хоть и малую, да нарядную, как девичий убор. Не для гостей она строилась, а только для князя да хозяина, да для люб их. Тут и плясали, тут и игры водили, и песни пели, и шутки вольные шутили. Как князя ни отказывались, а хозяин за стол их сесть приневолил. Выпили снова и журавля жареного с мочеными яблоками съели. Вместе с ними пили и ели разные снеди молодые хозяйки Грушенька, да Акулинушка, да еще Настасьюшка, что прошлый раз приглянулась тучному Ивану Андреевичу. Все три молодницы-хозяйки сами и стол накрывали и сами гостям за столом служили.

Димитрий Юрьевич расправил морщины на лбу, и глаза его повеселели, но только без злобы тусклыми стали – заменилась злоба тоской. Поглядел он на Акулинушку и, усмехнувшись с печалью, тихо промолвил:

– Спой-ка, любушка, песню, а какую – сама выбери.

Акулинушка вскинула на него свои русалочки прозрачные глаза, поглядела пристально, помедлила, и вдруг ласковый низкий голос тихо пролился и потек по всей горнице тяжелой истомой:

Эко сердце, эко бедно... бедное мое,
Ах, да полно, сердце, во мне ныти, изнывать!..

Словно замерло все в хоромаш, и, гуще багровея, заря огнем в слюдяных окнах переливает, играет на чарках и блюдах, на серьгах и камнях самоцветных и на жемчужных поднизах уборов, а песня льется в душу, словно слеза прозрачная да горячая, жгучая. Опустили все головы, а у Грушеньки да Настасьюшки слезы в глазах... Вдруг смолкла, не допев, Акулинушка. Взглянула в посеревшее лицо Димитрия Юрьевича и, словно лед разбив, засмеялась. Очнулись все, еще слова вымолвить не успели, как Акулинушка, словно душная знойная ночь, ожгла всех хоровой песней:

Уж вы, но... уж вы, ноче-ни-ки, вы но-чи-те!

– Ух! – будто враз опьянев, воскликнул Федор Александрович, и все хором подхватили горячую, хмельную песню.

Затопали под столом ногами, зашевелили плечами, и первый пошел плясать Федор Александрович, лукаво поманивая перстом свою Грушеньку.

Серой утицей поплыла к нему Грушенька, помахивая белым шитым платочком. Не утерпел и князь Иван Андреевич, пошел на манку Настасьюшки, словно голубь за голубкою, зачистил ногами, застучал в пол каблуками на серебряных подковах. Только Шемяка сидел на скамье, широко раздувая ноздри и крепко обняв Акулинушку. Но вот и он улыбнулся, закрыл глаза и опустил свою черную кудрявую голову на высокую грудь Акулинушки. Ни о чем он теперь не думает, а слушает, как под его ухом девичье сердце стучит, да звенит и гудит в груди сладостный голос, пьянит и баюкает, тоску его усыпляя.

Кончились песни и пляски, опять зазвенели чарки, и Федор Александрович, румяный от вина и быстрых движений, увидев, что князь его развеселился, снова вскочил из-за стола.

– Гости дорогие, – громко приглашал он, – напоследочек в «колобок» поиграем с пенями!..⁴²

Поставили пять стольцев среди горницы. Пятеро сели, а шестая, Акулинушка, протянув правую руку, пошла вдоль стольцев и запела медленно:

Клубок – тоне, тоне,
Нитка тянется...

Первым, встав, взял ее за руку Шемяка, потом Грушенька, за ней – Федор Александрович, за ним Настасьюшка и князь Иван Андреевич.

Образовался хоровод и быстро закружился, а Акулинушка запела:

Клубок – тоне, тоне,
Нитка – доле, доле!..

Хоровод закружился еще быстрее и вдруг, разорвавшись в одном месте, стал извиваться змеей, будто и в самом деле нитка с клубка разматывалась...

Снова запела Акулинушка:

Я за ниточку взялась,
Моя нитка порвалась!..

При последних словах она дотронулась рукой до князя Ивана Андреевича, догнав другой конец хоровода, который мгновенно рассыпался. Все сели на столы, только Настасьюшка не успела и осталась среди горницы.

– Пеню, пеню! – закричала Грушенька.

– Пусть поцелует кого захочет! – крикнул, смеясь, дьяк.

– Меня поцелуй, Настасьюшка, – при общем смехе быстро отозвался князь Иван Андреевич.

Снова игра продолжалась, а оставшиеся и через скамьи скакали, и чарки осушали, как Иван Андреевич, совсем осовевший от крепкого меда. Последнему Федору Александровичу пеню платить пришлось.

– Медведем ему быть! – весело крикнул Шемяка, перескочивший перед тем через скамью.

– Ладно, – проревел дьяк, становясь на четвереньки.

Грузный, но все еще могучий, пошел он с медвежьими ухватками, ну точно вот зверь лесной. Грушенька даже взвизгнула, когда он с ревом напал на нее, встав на задние лапы и нарочно подогнув колени. Схватив ее передними лапами, поднял, как перышко, и понес к себе в опочивальню. В дверях он остановился, засмеялся и проговорил, кланяясь:

– Гости дорогие, на покой пора, и медведь с медведицей в берлогу свою уходят... – Потом, подмигнув, добавил: – А ты, Настасьюшка, укажи князю Иван Андреевичу опочивальню его. Не найдет он один-то дороженьки.

Когда ушли все, Акулинушка с тоской и лаской закинула руки, обняла Дмитрия Юрьевича за шею, впила устами в уста, не отрывая русалочьих глаз, задохнулась совсем. Сжал ее в объятьях Шемяка, сам целуя ей щеки, шею и плечи и снова сливая уста с устами.

⁴² Игра с пенями, то есть со взысканием, с «фантами».

– Люба ты, любя моя, – шептал он страстно, – свет мой Акулинушка...

Вдруг она отстранилась:

– А вот опостылю тебе, как княгиня твоя...

Он промолчал, прижимая крепче ее к своей груди. Акулинушка вздохнула и пропела ему вполголоса:

Буде лучше меня найдешь – позабудешь,

Буде хуже меня найдешь – вспомнешь...

На восходе солнца прискакал из Галича в усадьбу дьяка Дубенского гонец от боярина Никиты Константиновича Добрынского. Разбудили Дмитрия Юрьевича, и всполошились все в хоромах, по всем углам суета началась. Сразу всем стало известно, что в Галич приехал из ханского яртаула⁴³ Бегич, посол Улу-Махмета. Князьям подали коней. Торопливо позавтракав, чем Бог послал, Дмитрий Юрьевич и Иван Андреевич поскакали вместе с дьяком Дубенским к Галичу, стольному граду Мерьской земли.

– Ты, господине, покоен будь, – говорил Шемяке дьяк, идя на рысях бок о бок с княжим конем. – Боярин Никита знает, как посла приветить, на Москве ведь жил, а посол-то нам, словно Божий дар, с самого неба упал...

Шемяка злорадно усмехнулся и глухо выкрикнул:

– Теперь Василей-то треснет, как гнида под ногтем!

Когда князья и дьяк, прискакав в Галич, вошли в переднюю княжих хором, застали там они уже стол да скатерть, а чарочки уже по столику похаживали – боярин Никита Константинович угощал посла Улу-Махметова с почетом великим и лаской. Бегич был стар и тучен, с рыхлым лицом, обросшим жидкой бородкой, но глаза его смотрели остро и бойко, все замечали и видели. Много на своем веку встречал он людей и везде был как дома. Знал изрядно по-русски, умел и на чужом языке уколоть словом, умел и приласкать, и уважить. Самый нужный слуга у царя для хитрых переговоров и договоров.

Увидев Шемяку со спутниками, Бегич и Добрынский почтительно встали.

– Ассалям галяйкюм, – сказал Бегич, прикладывая руку к сердцу и низко кланяясь, – с сеунчем⁴⁴ к тебе я, княже, от царя Улу-Махмета, да живет он сто лет...

– Вагаляйкюм ассалям, – радостно ответил Шемяка, – победа Улу-Махмета – моя победа, да здравствует царь многая лета...

Своеручно налил Дмитрий Юрьевич водки боярской в кубки испить за царя, потом за царевичей, а по третьему разу налил всем за здоровье Бегича. Пили потом за Шемяку, и Бегич сказал ему по-русски, подымая свой кубок:

– Живи сто лет отныне, великий князь московский! Вольный царь казанский Улу-Махмет жалует тебя великим княжением, а врага твоего князя Василья до смерти в полоне держать будет. С этим жалованием послал меня царь из Новагорода из Нижнего, а тебе быть во всей его воле и на том шерть⁴⁵ свою дать царю...

– Напишу яз царю шертную грамоту крепкую, – поспешно воскликнул Шемяка, – пусть токмо Василья задавит!

– Царь казанский, да живет он сто лет, – продолжал Бегич, – послал меня к тебе августа двадцать пятого дня, а сам с войском пошел к Курмышу с несметными богатствами и полоном.

Шемяка поклонами и знаками пригласил всех садиться за стол, а Никита Константинович наполнил чарки дорогим заморским вином, что редко подавалось к столу у галицких князей.

⁴³ Яртаул – передовой отряд конников, разведка.

⁴⁴ Сеунч – радостное известие, посылаемое с вестником.

⁴⁵ Шерть – присяга на подданство.

Цену заморскому вину отлично знал и Бегич и, судя по приему и угощению, ясно понимал, какое значение придают здесь его приезду. Он покровительственно улыбнулся, когда услышал, как Шемяка винился, что не успел приготовить всего, чтобы с почестью встретить дорогого гостя, и обещал к вечеру и на завтра обильные пиры-столованья. Бегич знал недостатки удельных князей и ответил грубоватой шутиливой пословицей:

– Айда байрам бит ача, кюн байрам кыт ача.⁴⁶

Все рассмеялись, а Шемяка поморщился от обиды, но стерпел и ласково ответил:

– Такой русский обычай. Недаром по старине говорится о гостях: «Напой, накорми, а после и вестей поспроси!..» Попируем, чем Бог послал, а потом побеседуем.

– Ну ничего, – снисходительно заметил татарин, – сядешь на московский стол – поправишься на великокняжских прибытках.

С каждым днем больней и несносней были Шемяке обиды от Улу-Махметова посла, но злоба и зависть к великому князю Василию заставляла его терпеть все своеволия татарина.

– Поклоняемся агарянам поганым, – говорил он наедине князю Ивану Андреевичу, – да зато Василья сгонить легче будет, а там и с царем иным языком говорить можно! Стану князем великим, укреплю всех удельных. Бегич верно о прибытках молвил. При московском богатстве и татары нам ниже поклонятся.

– Дай-то Бог! – проговорил Иван Андреевич и, усмехнувшись, добавил: – Дай Бог нашему теляти да волка поймати!..

Шемяка вспыхнул, сверкнул гневно глазами, но взял себя в руки и громко засмеялся.

– Василий-то волк?! – воскликнул он презрительно. – Коли он волк, то ты самого льва страшней.

– Не о Василье речь, – досадливо отмахнулся князь можайский, – о том, что Москва за него. Василий-то и так в яме. Москва страшна, а не Василий.

Вошли, кланаясь, Никита Добрынский и Федор Дубенский.

– Государь, – сказал Никита, – составили мы с Федором Лександрычем грамоту к царю. Как прикажешь царя называть и себя? Вторую неделю с Бегичем спорим, а он от своего не отступается. Хитер и ловок, собака. Хоть скуп он и жаден, а деньгами и подарками не купишь. – Никита Константинович развернул бумагу и продолжал: – Вот так он требует писать-то: «Казанскому великому и вольному царю Улу-Махмету. Твой посаженник и присяженник, князь Галицкой, много тя молит...»

Шемяка прервал чтение боярина крепкой площадной бранью и, вскочив из-за стола, заходил взад и вперед по горнице. Потом, переявившись, опять подошел к столу и за единый дух выпил полный ковш крепкого меда. Постоял немного и тихо промолвил:

– Ладно! Пиши так. Лучше поганым, лучше самому дьяволу покориться, чем Василью. Как ты мыслишь, Иван Андреич?

Снова замолчал, тяжело переводя дух, а князь можайский усмехнулся.

– По мне, все едино, – сказал он, – лишь бы нам и детям нашим добро было.

– Да ведь татары-то, – закричал Шемяка, – остригут нас, словно овец!

Ведь и все удельные-то захотят тоже куски оторвать, а там еще и Тверь и Рязань!..

Иван Андреевич опять усмехнулся своей вялой усмешкой и сказал, прищуриив лукаво глаза:

– А ты мыслишь, все за тебя зря ума будут стараться, токмо для-ради красных слов.

– Верно, верно, – злобно согласился Шемяка, – к собаке сзади подходи, а к лошади – спереди... – Обернувшись к боярину Добрынскому, он сказал с истомой и изнеможением: – Ну так и быть! Пиши с Федором Лександрычем, как оба разумеете, но помните токмо: и мое и ваше горе на одном полозу едут! Зови Бегича, да потом так наряди дело, чтобы ехал скорей

⁴⁶ «Празднуй раз в месяц – будешь веселым, запразднуешь, каждый день – будешь голым».

к царю. Запировался у нас, а уж и бабье лето минуло и Спасов день прошел. Гусиный отлет начался. А ехать-то ему кружными путями больше недели и к Покрову не вернется. Да скажи, слух, мол, есть, что князь Оболенский, воевода Васильев, полки собирает, по всем дорогам конников шлет и дозоры держит в разных местах.

Боярин Добрынский вышел, а Шемяка, отвернувшись от всех, стал у отворенного окна, заглядевшись на белое облачко, что плывет в сини небесной над темными лесами дремучими. Гложет тоска Шемяку. Эх, забыть бы все, запомнить тревоги и горести, а губы сами чуть слышно шепчут:

– Акулинушка свет, лебедушка моя нежная...

Только отпировали у князя галицкого отъезд князя Ивана Можайского, как опять пир, опять угощает Шемяка ненасытного Бегича, но теперь уж на прощанье. Знает татарин толк и в питье и в еде и чужой стол да чужих поваров уважает. Видя скупость и жадность посла, подарил Шемяка ему кафтан бархатный, серебром шитый, да кубок серебряный, а царю послал шубу на соболях, золотой парчой крытую, да золотую чарку, а царевичам – кубки золоченого серебра с камнями самоцветными. Разорился совсем князь, а у Бегича под усами подстриженными губы от улыбки скривились – все мало ему, змею подколодному.

– Знаешь, княже, – говорит он учтиво, – что Василий-то Василич сотнику Ачисану золоченый кубок с камнями да чарку золоченую подарил. Хану Мангутеку – перстень с дорогим яхонтом да золотой обруч с самоцветами, а царевичам – кубки и чарки золотые, а царю и того больше подарки готовит...

– Буду на московском столе – озолочу всех! Земли и вотчины раздам на кормление татарам. Пусть царь убьет князя Василья, а мы Москву захватим, и всю казну его возьмем, и все именье у княгини его и у бояр.

– А пошто ты время ведешь, нейдешь скорей на Москву?

– Чернь там да купцы, а теперь и бояре купно все Москву обороняют. Град укрепили зело против вас. Ни вам, ни мне града того силой не взять. Пусть царь казнит смертью великого князя, а яз проведаю, где семья его хоронится, велю сыновей его убить. Тогда не будет у Москвы своих князей, тогда Москва меня примет, – одного яз с ними роду-племени. Димитрию Донскому внук, как и Василий. А пока жив Василий-то и дети его, Москву не взять!

– Сие и царь говорил, а потому велел тебе: собери удельных, сговоришься с великими князьями тверским и рязанским.

– Князья-то удельные тоже захотят от великого князя оторвать, а тверской да рязанской и того боле.

– Ну и давай, слабей их не будешь, а сильней, чем теперь, станешь. Нам же токмо Нижний Новгород надобен...

– Попы-то все за Василия.

– А ты и попов купи. Обещай льготы, земли, деревни, уголья лесные и рыбные...

Шемяка порывисто схватил большую чарку с двойной водкой и враз осушил. Крякнул и с трудом вымолвил:

– Попробую...

На том беседа и окончилась, начались прощанья – прощальные и подорожные здравицы. Проводили гостя с почетом и, кроме всех подарков, дали на дорогу подорожников разных из снеди, а вместо хлеба – курников да лепешек сдобных, чтобы в пути не черствели. Добрынский повел гостя в его покои, чтобы успел тот отдохнуть там перед отъездом. Остался с Шемякой только его дьяк Федор Александрович.

– Иван-то Андреич тоже себе на уме, – сказал вслух думы свои Димитрий Юрьевич.

– Истинно, – горячо отозвался Дубенский, – истинно, государь. Чаю, Можайский улучил время, перешепнулся с Бегичем-то. Ишь, татарин все разделил и, кому что давать, указывает! Да не бойся их. Слышали и мы, как дубровушка шумит.

– Сразу догадался яз, что сей губошлеп и тут лисьим хвостом завертел, да смолчал, – добавил Шемяка.

– Сие и лучше, государь. В наших делах слово – серебро, а молчанье – золото.

– Яз и Добрынскому, Федор Лександрыч, меньше чем в половину верю. У Василия он служил, перешел к можайскому, а теперь вот у меня. А завтра кому служить будет?..

– И-и, Митрей Юрьич, чужие-то все таковы. Корня у них нет в нашей земле, а без корня и полынь не растет.

– Эх, Лександрыч, токмо тебе да Акулинушке и верю. Поедем-ка мы с тобой на остатнюю ночь в усадьбу твою, а завтра с утра ты с Бегичем к царю поедешь, а яз пошлю Иваныча в Вятку. Вятичи зело Москву не любят.

Выходя из трапезной, они столкнулись с Добрынским и с сухим седобородым чернецом.

– Господине мой, – сказал боярин Никита с довольной усмешкой, – се чернец из Сергиева монастыря. Через Москву проехал, Ивана Старкова видал. Вести хорошие, княже...

– Земно кланяюсь, княже, – сказал чернец, касаясь рукой пола трапезной, – аз есмь раб Божий Поликарп, из Троице-Сергиева монастыря. Отец Христофор челом тебе бьет. Был у него из Москвы Старков и много доброго для тебя сказывал. Есть-де на Москве и бояре, и гости, и из духовных многие, особливо из Чудова монастыря, всё твои доброты...

Монах долго и подробно рассказывал, и Шемяка, прервав его, пригласил за стол. Отец Поликарп с жадностью пил и ел, как и все чернецы, когда пьют и едят в миру.

– Что же Старков-то деет? – спросил Димитрий Юрьевич, испытующе глядя на монаха. – И куда ваш игумен Геннадий клонит?

– Отец Геннадий неведомо что на уме имеет, но ежели все в твоих руках будет, сможешь его ублажить и на волю свою поставить, ибо его преподобие зело об обители печется, о приумножении ее прибытков.

– Добре, добре, – скрывая презрительную улыбку, промолвил Шемяка, – а пока, значит, яз Москву не захватил, он помогать не будет?

– Господине, мы и без него тебе поможем против Василья, а Иван Старков и содруженики его уже все съединились крепко в граде и многие от слобод из Заречья, особенно из гостей и купцов, окупа великого страшатся...

Отец Поликарп опрокинул чарку с боярской водкой и, нисколько не пьянея от всего выпитого за столом, добавил вполголоса:

– Иван-то Старков сказывал, что и ворота тебе кремлевские может отворить, ежели с нечаянностью к Москве придешь. Было бы лишь ведомо ему о том и твое изволение...

Шемяка остался доволен и, встав из-за стола, весело сказал боярину Никите:

– Весьма добрая сия весть! Ты, Никита Костянтиныч, уважь гостя дорогого. Меня же, отче, прости, отдохнуть иду. Расскажи тут боярину все, как на духу, как бы мне все едино.

Выходя вместе с Федором Александровичем, Шемяка через спину чернеца подмигнул Добрынскому, чтобы тот допросил гонца с хитростью, проверил бы его слова его же словами. Ловок был боярин на это. Добрынский понял и, вставая почтительно, сказал с улыбкой:

– Отдыхай, государь, спокойно. Завтра, как уедет Бегич, на беседу приду к тебе. Есть у меня еще вести и умыслы многие...

Глава 5

Окуп

Гадают оба князя в плену татарском о судьбе своей, словно в лесу темном бродят. Нет им и от царевича Касима никакой помощи – сам он ничего не ведает. Вот и до Покрова уж всего пять дней осталось. Идет время, а дела к пользе их ни на черту, ни на йоту не двинулись.

Темно на душе, да и погода хмурая. Время такое, что ни колеса, ни полоза не любит. Куда ни глянь, грязь кругом, и ступить негде. Беспутье, не дай бог какое, – только верхом и ездить, да и то трудно. Дожди то с крупой, то с мокрым снегом, мгла да туманы. От сырости да ветров кости в теле все ноют, а где там в шатрах согреешься – с дымом и тепло все из них выходит. Недовольны и татарские воины – трудно им здесь в Курмыше стоять, хотят к себе поскорей, в Казань, а царь все медлит, посла своего ждет. Бегича же нет как нет, и даже вестей о нем нет. Истомились князья, а Василий Васильевич пал духом совсем.

– Ошибся тогда Ачисан-то с делами татарскими. Старая-то голова, верно, крепче молодой шеи, – сказал он как-то Михаилу Андреевичу, – может, Шемяка-то не токмо с Бегичем, а и со всем своим войском сюда идет...

– Не дай господи, – всполошился Михаил Андреевич и с горечью добавил: – Выдаст царь-то, закует нас Шемяка в железы...

– Наказует нас Бог, – прошептал Василий Васильевич, – прогневили мы святых угодников, заступников наших.

Замолкли оба, кутаясь в бараньи тулупы от холодного ветра, который рвал дверную кошму, шумел и свистел в соседнем бору. Трещали, ломаясь, там сучья, с глухим стоном опрокидывались высокие ели и сосны на опушке, а вывороченные корни их торчали, как застывшие змеи.

С самой ночи и все утро бушевала непогода, а к полудню словно оборвался и сразу стих ветер, а сквозь темные тучи засияло солнышко, дрожа и играя на мокрых ветвях и в лужах. Повеселел вдруг день, и на сердце князей веселей стало, а когда неожиданно приехал со своими нукерами царевич Касим и привез «селям» от самого царя Улу-Махмета, Василий Васильевич в радости обнял и поцеловал татарского царевича, а видя это, засмеялся и Михаил Андреевич.

– Отец, – говорил Касим по-татарски, – захотел тебя видеть. Он назвал тебя не братом, а сыном, но ты не принимай это за обиду. Такой мой совет тебе. Отец стар, зови его отцом не за старшинство по власти, а по возрасту.

– А зачем я царю? Ведь послал он Бегича к Шемяке...

– Сам знаешь, князь, – перебил царевич, – нет у нас вестей о Бегиче.

Слухи только разные, а хан Мангутек через карачиев,⁴⁷ детей Минь-Булата, свой слух до царя довел. Шемяка-де, узнав о плене твоём, бил челом в Золотой Орде брату отца, царю Кичиму, а в Литве Свидригайле, и что из Орды посол раньше Бегича в Галич приехал.

Василий Васильевич перекрестился и, обращаясь к Михаилу Андреевичу, не разумевавшему по-татарски, воскликнул:

– Внял Господь Бог молитвам нашим, княже! Зовет Улу-Махмет меня. Милует Господь нас, грешных...

– Отец наш одряхлел. Недаром дядя из Орды его выгнал, – продолжал Касим по-татарски, – не может править он ни царством, ни войском, а к старости весьма жаден стал. Мангутек прельстил его твоим окупом, и сам царь теперь говорит, что убил Шемяка посла его в угоду

⁴⁷ Карачии – самые знатные и влиятельные из татарских князей Казанского царства.

ордынцам! Так вот, соглашайся на все, не пропусти случая. Может, Бегич и жив и скоро вернется...

Когда вышли они из шатра и садились на коней, Касим сказал великому князю вполголоса:

– Смотри не обмолвись, что про все ты знаешь. Говори только о союзе с Казанью против Золотой Орды да об окупе и кормленьях.

Вскочив на коней, поехали они по вязкой красной глине вдоль берега Курмышки, к ее устью у реки Суры, где град Курмыш стоит. Еще в досельные времена нижегородский князь из крепкого дуба сложил его здесь, меж двух рек, в защиту от набегов язычников из дикой мордвы и черемисы. Не только реки, но и болота, холмы да овраги обороняют тут крепость со всех сторон, а дальше, за лугами поемными да пашней, леса идут сплошные, дремучие. Ни прохода, ни проезда по ним нет. Жадно дышит Василий Васильевич влагой от реки и духом лесным. Осеннее солнышко хоть и не греет, а все кругом золотит и светлит, и сверху синь небесная ласково сквозь тучи проглядывает. С берез листья золотые роями летят, осинки стоят все багровые, дрожат их листья, словно кровью обрызганы, а в затихшем бору синицы кричат да сороки стрекочут.

Осень настоящая, а Василию Васильевичу словно соловьи поют. Улыбнулся он весело, сделал знак царевичу и придержал своего коня. Подъехал Касим, приветливо тоже глядит на великого князя.

– Слушай, – говорит Василий Васильевич по-татарски, – чую сердцем – буду опять на Москве. Тебя же, Касим, полюбил я и хочу к себе на службу! Братом меньшим моим ты будешь...

Засиял царевич и дрогнувшим голосом ответил:

– Помни клятву мою. Как позовешь, так и поеду. Весь я на воле твоей, и Якуб о том же челом тебе бьет...

Войдя в горницу, великий князь и царевич Касим поклонились царю до земли и сказали селям. Улу-Махмет, окруженный карачиями, биками и мурзами⁴⁸ в это время, полулежа на персидском ковре, играл в шахматы с биком Едигеем, начальником своих уланов. Он благосклонно приветствовал великого князя и, продолжая игру, знаком пригласил сесть.

– Подождем, князь, – сказал Касим по-татарски, посмотрев на шахматную доску, – они скоро кончат.

Василий Васильевич впервые видел шахматы и с любопытством разглядывал людей, колесницы, коней и слонов, белых и красных, вырезанных из кости.

– Это два войска, – пояснил ему игру царевич Касим, – с двумя царями. В игре их «шахами» зовут. Вон они оба сидят на столах своих в коронах. Один белый, другой красный, и того же цвету вои и воеводы их. Они бьются друг с другом.

Василий Васильевич увидел на доске одну белую колесницу и две красных. В каждой из них стояло по одному воину с копьем и щитом того же цвета, что и колесницы их.

– Это, – сказал Касим, – воевода в игре, они «рук»⁴⁹ называются. Всего четыре их, одного белого нет на доске, значит – убит он. Эти же конники – темники царей. Из них один красный убит.

– А это что за звери, – спросил Василий Васильевич, – горбатые, головастые, а ноги, как бревна? Вишь, клыки торчат какие, а нос кишкой повис?

– Слоны, – продолжал царевич, – боевые звери с кожей такой толстой, что ни стрелой, ни копьем не пробьешь, ни мечом не прорубишь. На спине у них башни привязаны, там стрелки сидят.

⁴⁸ Бики – князья, мурзы – знатные сановники и богачи-купцы.

⁴⁹ Рук – шахматная фигура, изображала воина на боевой колеснице, теперь называется турой.

В это время Улу-Махмет передвинул свою красную колесницу и сказал громко:

– Шах!

– Это он нападение на самого царя сделал, – пояснял Касим. – Теперь бик Едигей должен своего царя спасать. Вот он белого слона около него поставил, закрыл его от красного «рука». Только не поможет это – скоро его царю ступить будет некуда...

Улу-Махмет переставил через головы пеших воинов своего темника на красном коне и опять сказал:

– Шах!

Бик Едигей передвинул своего царя с белого четырехугольника на черный, но не отнимал руки и все думал: не лучше ли его в другое место поставить, – но, видимо, такого места не нашел и оставил там, куда передвинул. Улу-Махмет, засмеявшись и поставив своего пешего воина около белого царя, радостно воскликнул:

– Твой шах мата!

Василий Васильевич не понял его слов, и царевич наскоро шепнул ему в ухо:

– Это не татарская речь, а в игре это значит: «Твой царь погиб». Игра на этом кончается, отец обыграл бика Едигея, разбил его войско.

Великий князь слушает Касима, а сам зорко следит за Улу-Махметом, желая угадать, в каком царь духе и чего от него ждать – добра или худа. Видит он сбоку дряблые морщинистые щеки, дрожащие от смеха, и ждет, когда царь обратит к нему лицо. Вот застыло лицо Улу-Махмета и со сдвинутыми седыми бровями повернулось к московскому князю. Косые глаза его щурятся по-рысьи, как щурились и глаза сына его Мангутека при первом свиданье с Василием Васильевичем.

Помолчав, царь, сидевший на ковре, поднял руку над полом на уровень своей головы и сказал:

– Вот таким ты приходил ко мне в Золотую Орду, и я посадил тебя на московский стол еще малым ребенком. А теперь ты крепкий мужчина, моя же голова стала серебряной...

– Что ж, отец мой, – почтительно сказал по-татарски Василий Васильевич, – недаром сказано: «В серебряной голове золотые мысли...»

Улу-Махмет милостиво улыбнулся и ласково молвил:

– Люблю я слушать, когда хорошо говорят по-татарски...

Он сделал знак, и слуги стали приносить угощения на серебряных блюдах и золоченые кувшины с кумысом и красным вином.

Получив от царя жирный кусок баранины и съев его, как требовала вежливость при такой чести, Василий Васильевич после здравицы за счастье царя и царевичей сказал:

– Отец мой, верю я, Бог поможет мне. Я дам тебе окуп, какой ты захочешь, а сыновьям твоим, моим братьям, уделы, и бикам твоим и мурзам – воеводства и кормленья...

– Сказано, – важно прервал его Улу-Махмет, – «Солнце течет к назначенному месту: таково повеление сильного, знающего». Думали мы раньше иначе, но Аллах все по воле Своей изменил. Ныне согласны мы на твой окуп.

– Буду тебе, отец, я верным пособником в борьбе с моим и твоим врагом в Золотой Орде. Не ищи себе многих друзей, ибо сказано: «Один верный спутник дороже тысячи неверных»...

– Пусть будет так, великий царь, – сказал седобородый сеид⁵⁰ в зеленой чалме и, коснувшись бороды своей, прочел из Корана на память: «Аллах поможет тому, кто полагает на Него упование; Аллах ведет Свои определения к доброму концу».

⁵⁰ Сеиды считаются потомками Пророка, во всех мусульманских странах принадлежат к высшей духовной знати и пользуются большим почетом.

Понял тут Василий Васильевич, что у царя собрался весь его совет, что все уже о выкупе решено у татар, и стал ждать, что еще скажет хан Мангутек, соправитель отца своего. Молодой хан сидел молча, пока не сказали своего мнения все карачии.

– Царь наш, да живет он сто двадцать лет, и советники его, – начал хан, – решили все мудро и справедливо. Я только добавлю, что московский князь богат и силен, за него стоят все города московские и все духовенство Руси. С Москвой будет у нас ежегодный большой торг у Казани на речке Булаке. При князе Василии не пойдут московские товары к Золотой Орде. От других же князей нам не будет такой выгоды...

Мангутек оборвал свою речь, но все бики и мурзы заговорили разом, загудели снова со всех сторон, как пчелы в улье. Торговля – главная статья для Казани. Умеют торговать татары: русские меха, хлеб, скот, мед и воск скупают в великом количестве, а сами продают ковры, обувь, камни самоцветные, ткани персидские и китайские, перец, корицу, изюм и всякие сушеные и вяленые плоды.

Василий Васильевич радостно слушал поднявшийся шум и гомон. Понял он, что сговора у царя с Шемякой быть не может, и вздохнул всей грудью, благодаря Бога за милость. Вдруг все смолкли, и Улу-Махмет сказал громко и повелительно:

– Хан Мангутек, завтра с советниками моими будь здесь после зухра, и пусть будет поп христианский из города – в Курмыше церковь есть. Утвердим мы крестным целованием князя московского в том, что указанный ему окуп он даст, а царевичам даст вотчины, биков и мурз на службу возьмет, и мир у Москвы с Казанью будет крепкий...

Торопился князь с отъездом в Москву, все возвращенья Бегича боится, хотя и утвержден им договор крестным целованием, а царь дал ему клятву и ярлык со своей алой тамгой⁵¹ и записи все составлены, где подробно все перечислено, что дает Василий Васильевич за свой выкуп.

– Медлят татары-то, – твердит постоянно в беспокойстве и Михаил Андреевич, – как бы что не передумали!

Но Василий Васильевич, хотя и сам терпенья не имеет, верит Касиму – обманывать татарам нет выгоды, да и глаза-то у биков на московское добро сильно разгорелись. Губа не дура у них.

– Раздразнил яз татар, – ободряет Василий Васильевич с довольной усмешкой князя Михаила Андреевича, – забыли мурзы и бики про Шемяку, одна Москва на уме, сами торопятся, да, видать, сговоры у них есть какие-то тайные и с Улу-Махметом и с Мангутеком. Медлит царь-то токмо на царство свое возвращаться. Говорил мне Касим, что боится Улу-Махмет Казани, своих же карачиев да биков боится, а пуше всего Мангутека...

– Что ж ты, государь, в окуп даешь неверным? – спросил Михаил Андреевич.

Великий князь запечалился и, помедлив, ответил:

– Много, княже, ох, много! Ну, да Бог не выдаст, свинья не съест. А может, и не дадим обещанного-то, коли у татар распря начнется...

Василий Васильевич замолчал, но Михаил Андреевич выжидательно глядел ему в глаза. Хотел знать он точно и подробно – на всех ведь выкуп этот падет. Удельным тоже на плечи ляжет.

– Какой же окуп царь-то берет?

Великий князь нахмурился и заговорил строго и сурово:

– Посулил яз на себя, и на тебя, и на прочих, в полон взятых, многая от злата и серебра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов. Полтриста тысяч рублей будет, а то и боле...

Михаил Андреевич побледнел и, заикаясь от горести, воскликнул:

⁵¹ Тамга – знак, печать, клеймо.

– Да ведь татары-то нас на щипок подберут! Оставят от золотца токмо пуговку оловца!.. Семерых в один кафтан согонят!

Великий князь поморщился и крикнул:

– Не голоси бабой! А не хошь – у татар оставлю, сам торгуйся с ними!

Князь Михаил покорился и, опустив голову, печально промолвил:

– А что яз сам? Алтыном воюют, без алтына горюют. Справил бы однорядку с корольки,⁵² да животики коротки...

– Так уж и молчи лучше, – сердито сказал Василий Васильевич, но потом добавил спокойнее: – Бики и мурзы с нами поедут, царевичей двое, а с ними пятьсот конников и слуги.

– Ох, зря ты без опасу столько татар на Москву ведешь. От поганных, опричь худого, ничего не жди.

– Ну, а мне боле зла от христианства, нежели от басурманства! – закричал Василий Васильевич. – Вкруг меня сколь переметчиков-то! И Шемяка, и брат твой Иван, и бояре Добрыньские почти все, и Бунка, и Старковы, да из купцов и чернецов немало! А сколько их отъехало и к брату твоему в Можайск, и в Галич к Шемяке, а многие на Москве затаились: часу своего ждут, иуды! Из князей яз токмо шурина Василью Ярославичу да тебе верю, на родных сестрах вить с тобой мы оженены. Мыслей своих от тебя ни в чем не таю. И знай, не об одной своей пользе стараюсь, обо всем христианстве гребта моя...

– Бог нас простит, – тихо промолвил Михаил Андреевич, – верю тебе, брат мой. Скорей бы токмо домой вернуться привелось.

– А приведется, – подхватил горячо Василий Васильевич, – все обернем мы себе на пользу. Уразумей, княже, что и татары не столь Москву разорят, как свои враги. Простят мне христиане мой окуп великий и все вины мои и тяготы, ибо Димитрий-то Шемяка горше татар им станет.

Склоняется солнце к закату, светлым янтарем полнеба покрыло, золотит обрывистые берега полноводной Суры и золотые дорожки стелет в потемневшем лесу, пробиваясь лучами сквозь бурелом и просеки. Непогоды как не было. Воздух не дрогнет, словно хрустальный. Ясно да тихо, хоть мак сей. Будто и не осень совсем. Если б не листья желтые, и не поверить, что нынче третий день после Покрова, а не бабье лето погожее. Едет шагом Василий Васильевич на коне своем вдоль берега в доспехах и с мечом у пояса. Весел и радостен – снова великий князь он московский! Шутит, смеется, громко переключаясь то с Касимом-царевичем, то с князем верейским Михаилом Андреевичем, то с боярами своими и воеводами. Все они вместе с ним в полоне были. Тут же и бики и мурзы казанские едут с ним рядом, а стража у них общая – из татарских и русских конников.

Впереди их дозор рысит – по дороге к Новгороду Нижнему старому путь разведывает, а сзади – обозы скрипят. Тянутся там со всяким добром на арбах, а в шатрах и в кибитках семьи и слуги татарские. Следом за ними гонят рабы стадо баранов, а огромные мохнатые нары волокут телеги тяжелые с котлами медными, с мукой и просом для воинов и слуг. В самом же конце опять сторожевой отряд едет из русских и татарских конников.

– Слушай, Михайла Андреич, – радостно крикнул великий князь, – надо бы нам кого в Москву вестью отпустить, семейство мое да и твое обрадовать!..

– Что ж, государь, – весело отозвался князь Михаил, – отпусти молодого Плещеева Михайлу, сына боярина Андрея Михайлыча.

– И то, княже! Хитер и ловок Михайла-то. Дам ему двадцать конников добрых – они нас с обозами-то недели на две вперед обскачут. Мы же вот два дни от Курмыша едем, а до Волги еще и не доехали.

⁵² Однорядка – мужская верхняя одежда, однобортная; корольки – бусы или пуговицы из кораллов, самоцветов или из золотых и серебряных шариков.

– Воевод и бояр своих верных упредишь, – заметил князь Михаил Андреевич, – чай, Шемяка ныне там наветы да смуты сеет...

– Верно, – подхватил Василий Васильевич, – а Плещеев-то нам все его лжи и ласкательства борзо порушит!

Василий Васильевич нахмурился, но, опять повеселев, повелел позвать к себе из передового отряда молодого Плещеева. Князь Михаил Андреевич, приблизясь к страже, послал конника. Тот, лихо гикнув, помчался вперед.

– Что, государь, случилось? – подъехав к великому князю, тревожно спросил по-татарски царевич Касим. – Может, мордва или черемиса в засаде сидит? Прикажи, я поскачу вперед со своими нукерами...

Василий Васильевич весело рассмеялся.

– Нет, царевич, никакого зла в лесу я не чаю, – сказал он с ласковой шуткой, – oprичь того, что завтра там беситься леший почнет...

Касим с недоумением глянул на великого князя, а тот рассмеялся еще веселей и добавил:

– Завтра, в четвертый день октября, святого Ерофея у нас празднуют, а наши православные весь этот день в лес не ходят, говорят – леший бесится, со злости и вред причинить может...

– А зачем от тебя конник к яртаулу поскакал?

– Хочу молодого Плещеева с сеунчем в Москву послать. А насчет мордвы да черемисы ты верно сказал. Надо ухо остро держать...

Они поехали рядом, дружно беседуя, а вскоре и Плещеев примчал. Станом и лицом красивый, Михаил на всем скаку ловко сделал крутой поворот к великому князю.

– Изволил звать меня, государь? – спросил он, осаживая коня.

Царевичу Касиму понравилась ездая выправка Плещеева, и, причмокнув губами, сказал он Василию Васильевичу:

– Якши! Бик якши!⁵³

Великий князь ответил ему улыбкой, но, обратившись к Михаилу, сказал строго:

– Отбери себе двадцать лучших конников, каких сам знаешь. Возьми что надо в дорогу. Поедешь в Москву с вестью о нашем освобождении. Разумей то, что нам козни Шемякины порушить надо.

– Разумею, государь. Оповещу все христианство.

– Первую весть моему семейству, княгиням моим и сыновьям, потом всем прочим, как установлено. Завтра выезжай на рассвете. Да благословит тебя Господь Бог и помогут святые угодники...

Ближе к Новгороду Нижнему к старому, где Ока шире становится, бежит гребная ладейка о две пары весел и под парусом. Спешит из Мурома, ходко идет вниз по течению к матушке-Волге, да и ветер попутный. Над ладьей же у кормы – навесец тесовый, и сидят там на кошме Бегич да Федор Александрович Дубенский, едят снеди дорожные, а рядом в кошелке куры кудахчут, своего череду ждут. На шеях у них камешки разноцветные нитками привязаны – «куриные боги», от падежа они сохраняют.

Смеется Бегич и говорит в шутку:

– От падежа их боги спасают – для ножа берегут!

Но Федор Александрович хмурится. Думы у него о князе Оболенском.

Хитер воевода Василий Иванович и великому князю предан. Разбросал он везде заставы, и конники его по всем дорогам рыскают. Беспокоится Федор Александрович и зорко по берегам смотрит, где дороги проезжие, а за ними стенами стоят на обрывах крутых огромные сосны, ели, дубы и березы.

⁵³ Хорошо! Очень хорошо!

– Скорей бы Дудин монастырь проехать, – говорит он Бегичу, – там и до Нижнего недалеко.

– Должны быть к вечеру.

Впереди на закрае реки лодка показалась. Когда поровнялись, подняли весла, Федор Александрович крикнул:

– Далеко ль до Дудина?

– В монастырь к ночи будете, на жилых еще приплывете. А чьи вы?

– Княжие. А у вас что тут деется? – сурово спросил Дубенский.

– Что наяву деется, – со смехом ответили с лодки, берясь за весла, – то и во сне грезится...

Федор Александрович осерчал.

– Ты им к делу, а они про козу белу! – крикнул он, но лодки уж далеко разминулись.

Не понравилась такая встреча Дубенскому.

– Лукавы люди, вельми увертливы, – сказал он Бегичу, – может, и лазутчики воеводы Оболенского.

Более часа они проплыли молча, когда вдруг Федор Александрович увидел, как конники с лошадьми на поводу, праздными и со выюками, к самой реке подскакали, руками им машут и в голос кричат.

– Фе-о-до-ор Ли-икса-андрыч! – услышал он голос Плишки Образцова, что с их конями берегом ехал. – Сто-ой! Ве-есте-ей до-обыли!..

Переглянулся Дубенский с Бегичем, без слов друг друга поняли, и велел Федор скорей выгребать к берегу и парус свернуть. Вышел с татарским послом он на каменистый пологий берег, а ноги и руки у него от тревоги словно размякли.

– Какие вести? – глухо спросил Федор Александрович, а сам глядит, как у Плишки губы подрагивают.

– Худые вести! – громко и торопливо заговорил Образцов. – Седни о полудни встрел нас боярин Михайла Плещеев с конниками и в доспехах. Было то противу Иванова, села Киселева. На Покров, говорит, пожаловали князя великого царь Улу-Махмет и сын его Мангутек и, взявши окуп, отпустили на великое княжение со всем полоном, а в подмогу, говорит, против Шемяки свои полки дали с Касимом-царевичем...

– Врешь ты! – крикнул Бегич. – Не может то быти...

– Михайла Плещеев с сеунчем отпущен ко княгиням, – добавил Образцов, – я Плещеева-то давно знаю. В Москве, когда с нашим князем были, видал я там Плещеевых-то, и старого и молодого.

– Верно, – сказал Бегичу Дубенский, – ведомо и нам и тебе, что Плещеевы в полоне были вместе с великим князем.

– Сказывал он, – продолжал Плишка Образцов, – что князь Василий-то с царевичем в Нижнем Новгороде теперь, а то, может, и вдоль Оки уж идут...

Молчит татарин, позеленел от злости, и щеки ему дергает. Посмотрел на него Федор Александрович и сам ему с досадой молвил:

– А тебе что бояться? Царевич Касим тебя примет, не даст в обиду...

– Царевич Касим! – вырвалось у Бегича. – Хуже Мангутека он. Тот против отца, а Касим против всех и татар на русских сменить может!..

– Ты – не знаю как, – мрачно перебил его Федор Александрович, – а яз назад в Муром, потом в Галич побегу через Суждаль или Кострому, как уж Бог приведет.

– Мне деваться некуда, – тихо сказал Бегич, – с тобой поеду. Мне токмо от Костромы путь будет: Волгой я прямо в Казань спущусь...

Пошли, побежали по всем городам и селам слухи: великий князь московский из плена отпущен, с войском идет в свою вотчину и дедину. Покатилась весть о том и вверх по Волге, дошла и до Костромы и до Галича.

Испугался Шемяка, побежал в Углич, ближе к великому князю тверскому Борису Александровичу. Людям же Московской земли от того радость из радостей. Со звоном церковным встречают везде Василия Васильевича, молебны поют, а бояре, воеводы и дети боярские с воинами своими и слугами отовсюду спешат к войску княжому присоединиться.

В Муром, будучи в разъезде окружном, как раз в ту пору для владычного суда прибыл Иона, владыка рязанский и муромский. Встретил он князя московского крестным ходом ото всех церквей, и Василий Васильевич остался дня на два в граде этом. Вспомнил он слова отца Иоиля и захотел с владыкой беседу иметь, благословенье принять от него. К тому же устал великий князь и решил отдохнуть от дороги у купца Шубина, у Сергея Петровича, да отца Ферапонта послушать – хорошо дьякон стихиры из псалмов Давыдовых с запевом поет.

Мог бы великий князь у своего наместника муромского остановиться, да расположения у него не было к этому, отдохнуть хотел от ратных и государевых дел.

– У наместника-то, – сказал он Михаилу Андреевичу, – дел не миновать, а у купца от всякой гребты схорониться можно.

Шубин встретил князей с великой честью и радостью и тотчас, чтобы князю угодное сотворить, послал холопа своего за отцом Иоилем и отцом Ферапонтом, а про гонца и забыл среди хлопот, да дворецкий в ухо шепнул ему вовремя.

– Княже и господине мой, прости, что запамятовал, – сказал, кланяясь низко, Сергей Петрович, – с утра еще ждет у меня конник от воеводы твоего князя Оболенского, Василья Иваныча. Князь-то под Муромом тут стан свой раскинул. Повидать тебя хочет, когда ты укажешь...

Поморщился Василий Васильевич, но, вспомнив услуги своего знатного и искуснейшего воеводы, живо сказал:

– Проси на обед его сегодня же, а стол надо роскошен и обилен нарядить. Позвать надо и владыку. Пусть отец Иоиль поедет звать его, и ты, Михайла Андрейч, поезжай с попиком-то. Почет оказать надо владыке. Ты же, Петрович, узнай от отца Иоиля, что вкушает святитель, дабы в огрешку и срам нам не впасть. Для воеводы ж фряжеского вина добудь – любит старик духовитое вино от гроздей виноградных...

К великому князю маленький попик явился один и, благословив князя и поздравив с освобождением, поспешил тут же объяснить ему, почему нету с ним отца Ферапонта.

– Не сетуй, княже, – говорил он ласково, – негоже нам, не подобает на сей раз за твоим столом беседу вести, а отец-то диакон и совсем не к месту, может и не умное что молвить. Тобе ж, княже, со владыкой и воеводой совет доржать...

Василий Васильевич приветливо улыбнулся, и светлые глаза его засияли теплом и добротой. Нравился ему маленький попик, и хотелось говорить с ним не о больших делах земных, а о малых, но душевных.

– А какова семья твоя, отец Иоиль? – спросил великий князь.

Попик потупил свою белую пушистую головку и грустно молвил:

– Един аз, княже, яко перст. Ни детей, ни родни нету. Да и жену свою лет десять, как схоронил...

Василий Васильевич помолчал немного. Хотел он от сердца сказать что-нибудь отцу Иоиле, но спросил совсем другое.

– Как же ты, вдовой и сана иноческого не приявший, – спросил он тихо, – служение и требы совершать можешь?

Попик печально улыбнулся, посмотрел на князя и так же, как тот, тихо ответил:

– Епитрахильну грамоту⁵⁴ на то получил от владыки рязанского, дозволение его рукописное.

⁵⁴ Епитрахильная грамота – письменное дозволение вдовому священнику служить и совершать требы.

Но вот враз отряхнул с себя печаль отец Иоиль и заговорил с умилением об освобождении Василия Васильевича от полона:

– Вымолили мы тя у Господа! От Плещеева мы слышали – Улу-Махмет мысли свои переменял для всех нечаянно, а в тот день, когда он отпустил тебя, в Москве было трясение земли. Божье в том произволение. Бог за тебя заступился, а крамолу в Москве кующим в тот же день знамение дал в предупрежденье...

Высокий и дородный князь Василий Оболенский сидел за столом, попивая по глоточку любимое заморское вино, глядел на великого князя веселыми, смеющимися глазами и беседовал с ним зычным густым голосом, поглаживая длинную и пышную, словно бобровую, бороду с проседью. Смелое и открытое лицо его было некрасиво, но весьма привлекательно, хотя черты его изобличали суровость и властность.

– Государь мой, – говорил воевода, – еще до того, как Плещеев пригнал, стража моя схватила Бегича. Был с ним дьяк Федор Дубенский, да ушел. Бегича одного оставил. Оковал яз татарина ране того в железы, узнал от него о всех умыслах Шемякиных. Отпустил он Бегича к царю со всем лихом на тебя.

– Ведомо сие мне, – заметил Василий Васильевич, – не чаял яз тогда, что Господь молитвы наши услышит.

– Вот, – продолжал Оболенский, – яз и доржал в мыслях: Плещеева не в Переяславль посылать с вестью, а в Москву, ко княгиням же послал своих конников, ждать им тебя указал в Переяславле, дабы из Ростова они ране времени навстречу тебе не отъехали...

– Добре, добре, княже, – согласился Василий Васильевич, – туда яз с малым войском пойду и сам в Москву привезу семейство...

– Поставлены мной, государь, заставы и дозоры в Волоке Ламском и Дмитрове, чтобы Москву от Твери закрыть, а еще боле того воев, пеших и конных, собрал яз против Углича. Переяславль надобно от Шемяки оградить, дабы нечаянно зла от него какого не было...

Встал Василий Васильевич, обнял и облобызал воеводу.

– Спаси тебя Бог, Василь Иванович, – сказал он, – спас ты нас от царевича Мустафы у речки Листани, спасешь и от Шемяки!..

Взглянув в окно, великий князь подошел ближе и увидел улочку небольшую, всю, как ковром, застланную желтыми и багрянами листьями ближних садов. Народ у заборов по краям улочки стоит без шапок. Вгляделся великий князь, прикрывшись ладонью от солнышка, и видит: въезжает в улочку на санях⁵⁵ своих по листьям цветным, словно в вербное воскресенье, сам владыка Иона. Впереди саней идет кологрив у лошади, а перед лошадью служба несет посох святительский. Владыка, сидя в санях, благословляет народ на обе стороны. За санями попик, отец Иоиль, а за ним на коне и в доспехах князь Михаил Андреевич.

– Владыка едет, – сказал Василий Васильевич и вместе с воеводой и хозяином пошел встречать почетного гостя.

Выйдя из саней, под руки с отцом Иоилем и Шубиным, владыка поднялся на красное крыльцо и благословил здесь ставших на колени великого князя и князя Оболенского. Потом, оборотясь, еще раз благословил весь народ.

В конце трапезы великий князь сделал знак, чтобы оставили его одного с владыкой Ионой. Когда все вышли, Василий Васильевич сказал:

– Благоволи, отец мой духовный, совет свой мне дать. Как быть мне среди зол, смуты и беззрядья? Окуп яз дал тяжкий, татар привел много...

Князь посмотрел на владыку, но величавый, седовласый старик молчал, сдвинув густые черные брови, и остро смотрел в лицо князя.

⁵⁵ Высшее духовенство круглый год ездило на санях. (Примеч. авт.)

– Может, и яз виноват в чем, – начал Василий Васильевич, – да на то воля Божия; сказано: «Ни один волос не упадет с главы без воли Божией...»

– В ересь латыньскую впадаешь, – сурово прервал его владыка. – Верно, все от Бога, все по воле Его деется, но уразуметь надо волю Божью и самому творить жизнь свою по ней, и будет тебе счастье на земле и в жизни будущей блаженство вечное...

– Яз не о душе своей говорю, владыко, а о государствовании и ратях...

– Наипаче того, – возвысил голос владыка, – в разумении государствования нужно творить дела по смыслу, ибо Бог наш есть разум и смысл мира, а нам подобает жить по воле Божией и творить дела вольно, по смыслу, воле Божией согласно. Смотри, как трудно было отцу твоему Василию Димитричу, а, поняв волю Божию о том, что нужно быти князю московскому единодержавным, он боле всех преуспел. И благословил Бог труды его и дал ему и Муром, и Мещеру, и Новгород Нижний, и Городец, и Тарусу, и Боровск, и Вологду. Тоже и мать твою, княгиню Софью Витовтовна, деяла. То же деет тебе теперь и мать твою духовная, Церковь православная...

Владыка смолк, а Василий Васильевич, потупив лицо, думал о словах его, но не все в глубине их постигал.

– Ну а как с Шемякой мне быть? – спросил он. – Измены много он деял и зло на меня мыслит.

Владыка сурово нахмурился.

– Шемяку хоть убей, а приведи в полную покорность. Не должно быть на Руси государя, кроме князя единодержавного московского. Сорные травы дергают и в огонь бросают. – Владыка помолчал и добавил: – Благо вы сотворили два лета назад – избрали меня митрополитом московским, да патриарх не уразумел воли Божией, утвердил Герасима, еже по воле Господа сожжен Свидригайлом литовским.

Василий Васильевич не знал, что сказать. Долго молчал и владыка, что-то обдумывая. Потом встал Иона, посмотрел ласково на князя и молвил:

– Скажу тебе, княже, проще и ясней. Единодержавным надлежит тебе быть. В том воля Божья, как открыл мне Господь. Сему следуй, сокрушай врагов своих беспощадно, а Церковь православная – твой покров, аз же – советник твой и доброхот. Мать свою слушай – она к государствованию Богом сподоблена, да помни, что отец твой деял. По отцу, по путям его следуй... – Он благословил князя, ставшего на колени, и, подымая его, поцеловал в лоб. – И в окупе Церковь тебе поможет, а наиглавно Строгановы, гости богатые, – вел аз с ними беседу. Церковь же и Шемяку, как главу змия, сотрет, а татар ты не бойся. Божию милостию они сами ся сокрушат.

Радостно поднялся с колен великий князь и воскликнул:

– Как укреплюсь на Москве, добыю челом у патриарха, дабы утвердил тебя, нареченника нашего, митрополитом всея Руси!

Провожая владыку к саням, Василий Васильевич выбрал время и, склонясь к нему, попросил виновато, как малый ребенок:

– Прости, отец мой, слабость мою: переведи ко мне на Москву диакона Ферапонта, велигласен вельми...

Владыка улыбнулся и сказал весело:

– Ужо благословлю к тебе диакона-то.

Глава 6

В Переяславле-Залесском

В лесах дремучих, в гуще дебрей непроходимых, у самого озера Клещина стоит на речке Трубеже старый Переяславль Залесский. Поблескивают в глуши лесной золотые маковки его древнего Спасо-Преображенского монастыря. Кругом всего города сплошной земляной вал идет, высотой от пяти до восьми сажен, а на нем град деревянный рубленый с двойной стеной и с двенадцатью башнями-стрельнями. В трех только башнях ворота есть: Спасские, Никольские, они ж и Кузнецкие, да Преображенские, что против собора Преображенья Господня.

Силен и крепок град Переяславльский, и еще более укрепляет его с одной стороны Трубеж, а с других – широкий и глубокий ров, воды полный. И тайник есть в Переяславле, идет под землей он, от всякого глаза сокрытый, к самому Трубежу. Выйдя здесь ночью из города, на ладьи неприметно сесть можно, уплыть в чащобы густые и схорониться от недругов. Надежное это убежище у князей московских, и при набегах иноплеменных и при княжих междоусобицах. Недаром в град этот приказала переехать старая государыня Софья Витовтовна. Знала она и то, что Переяславль поновил и весьма укрепил свекор ее, Димитрий Иванович, по прозвищу Донской. Старая государыня, совет держа с боярами своими, с наместником и воеводой переяславльскими, сама ведала обороной града и полками, а полки княжие росли с каждым днем.

Со всех сторон шли сюда дворские и ратные люди изо всех городов и сел Московской земли. Радовалась Софья Витовтовна, а иной раз и плакала, молясь по ночам перед иконами.

– Спасет Москва сыночка мово, – говорила она ближним боярам, – токмо бы из полону уйти ему целому и невредимому.

Успокоилась и Марья Ярославна. Доходили в Переяславль, хоть и медленно, вести из далекого Муромы, с Оки, из Нижнего Новгорода, с Волги, и даже из Курмыша, с реки Суры. Известно ей было, что великий князь жив и никакой обиды от татар не терпит. Княжичи же, Иван и Юрий, нигде и никогда на таком приволье не жилали, как в Переяславле.

Иван промеж ученья, молитв и трапез цельные дни ходил с Васюком, а иногда и с дьяком Алексеем Андреевичем по городу или играл с Данилкой и Дарьюшкой на дворе и в саду, позади глухой стены княжих хором. Дни стояли тихие, теплые, и терпко пахло прелым, давно уж опавшим листом. Все же в хрустальном воздухе чаще и чаще чуялись студеные струйки, а по утрам выпадали холодные росы, и с вечера уж вся трава становилась мокрой.

Дети играли в бабки, свайку и ямки. Илейка-звонарь делал им свистульки из ветловой коры, гнул луки из черемуховых ветвей и тростниковых стрелок нарезал множество, а тростников да камышей здесь страсть сколько в поймах у Трубежа и вокруг озера Клещина. Из орешника Илейка гибкие, хлесткие удилица вырезал, а из камыша поплавки очень легкие да чуткие делал.

– Снежок-то ноне запаздывает, – весело бормотал Илейка, крутя для удочек лески из конского волоса, – зима будет с морозом великим. Зато осень-то краше лета стоит. Успеем мы, княжич, рыбки наловить вдосталь. Эй, Данилка, подай мне оттеда вон того волоса, долгого...

Данилка с великой охотой учился у старика рыболовному делу. Прилипал прямо к нему, когда тот наряжал что-либо для рыбной ловли. Иван же, по спокойствию своему и ровности нрава, ни к чему не припадал с большой жадностью.

На этот раз Илейка-звонарь для показа княжичу скрутил две лески в два волоса, а одну в шесть.

– На такие вот, в два волоса, – сказал он княжичу, – ловится ерш, плотички, караси и другая мелочь. А такую толстую леску, из шести волос, ни сазан ловкий зазубринами спинного пера не подрежет и с разбега не оборвет, ни зубастая щука не перекусит.

Уразумев на этом все искусство Илейки, княжич Иван заскучал и пошел в сад на чижей и щеглов поглядеть, что висели там под тесовым навесцем в большой клетке. Дарьюшка холила птичек, воду меняла им и корм засыпала в кормушки.

Тихо шел он к саду, думая о Дарьюшке. Почему-то маленькая девочка с черными волосами и печальными глазами стала нравиться ему. Часто у нее бывала в руках кукла из тряпок в алом сарафанчике, с крошечным парчовым убором на голове. Дарьюшка ласково всегда улыбалась Ивану и, подойдя, робко останавливалась около него и внимательно следила за тем, что он делает. Иногда он разговаривал с ней, а один раз даже починил ей трещотку, переставшую трещать и вертеться.

Опустив низко голову и смотря себе под ноги, шел Иван по дорожкам сада и не заметил, как у кустов колючего боярышника, вся засияв, радостно улыбнулась ему Дарьюшка и что-то тихо сказала. Молча прошел он мимо нее и остановился у клетки с птицами. Чижики и щеглята звонко попискивали, словно переговаривались друг с другом. Слушая их, княжич забылся и не сразу разобрал, что кто-то недалеко от него тихонько плачет. Он оглянулся и увидел у куста боярышника Дарьюшку, крепко зажавшую руками глаза. Сердце его сжалось, он быстро побежал к ней.

– Что ты, Дарьюшка, что? – спросил он ласково.

Девочка стала всхлипывать громче, а Иван, почувствовав жалость и тревогу, обнял ее и сказал нежно:

– Пошто плачешь-то, Дарьюшка?

– У-у-кколо-л-лась я, – прерывающимся голосом выговорила она наконец и вдруг припала к нему и поцеловала его в щеку.

Сердце Ивана забилося, потом сладко замерло, чего с ним ни разу не бывало, когда целовала и ласкала его матушка. Не помня себя, в каком-то порыве он крепко обвил руками Дарьюшку, поцеловал ее и, вдруг смутившись, убежал из сада. Примчавшись на пустырь за конюшней, он спрятался тут среди рослых лопухов и татарника с почерневшими от морозных утренников вялыми листьями. Здесь только вчера с Данилкой ловили они силками прилетевших недавно чижей и щеглов.

Долго лежал княжич на зеленой еще траве, глядел в синее небо сквозь узорные сорняки и думал, сам не зная о чем. Словно во сне, видел он бегущие тучки, сверкающие в солнечном свете, и было все кругом так приятно и радостно. Он очнулся от неясных и непривычных дум, услышав голос Данилки.

– Ванюша! – кричал тот. – Васюк опять к Кузнецким воротам идет! Нас с собой берет!

Иван быстро вскочил и бегом помчался на зов своего приятеля. Любил он бывать у Кузнецких ворот, где работали кузнецы и котельники, что ковали и лили нужное все на потребу людям из железа, меди, олова, свинца, серебра и золота. Пробегая мимо сада, ускорил бег свой Иван – было ему почему-то стыдно и боязно. Казалось, что все вот узнают вдруг, догадуются сразу, что целовал он здесь Дарьюшку... У Кузнецких ворот по приезде великокняжьей семьи с двором и боярства московского с чадами и домочадцами стало теперь много оживленной. Вместо одной кузницы-плавильни с лавкой для торговли ныне тут целых три работают. В третьей же кузнец Полтинка делает все только из олова, серебра и золота. Хороши у него колечки, серьги, кресты, чарки и другие изделия: вольячные – литьем деланы, резные – рытьем и обронно,⁵⁶ басемные – чеканом на плющенных листах и сканые – из крученных проволочек.

Княжич Иван уже видел тут, как мечи, серпы, гвозди и топоры ковали, как из меди кресты, тельные, кольца, бубенчики и колокольчики лили в гнездах, лепленных из глины. Не знал он только, как из серебра и золота льют, но по дороге Васюк его обрадовал.

⁵⁶ Резьбой вглубь и рельефом.

– Седни, – сказал старик, – Полтинка крест золотой сольет на престол в монастырь Спас-Преображенья да бить будет басемный оклад к образу Богородицы.

Кузнец встретил княжича с радостью:

– Ждал тебя, Иванушка, и все нарядил: вот льяк железной, а там в глиняных ступках горна золото уж плавится.

Полтинка указал княжичу на изложницу, двойной железный брусок, потом сдвинул верхнюю половину. Иван увидел в нижней половине вырезанный вглубь крест восьмиконечный. С любопытством стал он ощупывать углубление в бруске – дно его было неровно, в ямках и выступах.

– Вот сюда и лить буду, – сказал Ивану Полтинка и, обратясь внутрь кузницы, крикнул: – Эй ты, Сенька, деревянна рогатина, не наставляй уши-то, качай, раздувай угли!..

Снова запыхтели мехи у горна, где попеременно дергал за веревки деревянных ручек высокий белобрысый парень.

– Сын мой, – пояснил Полтинка, – на тебя, княжич, загляделся...

– Да нет же, тятенька, веревки я поправлял. Ей-богу, я...

– Не божись, – прервал его отец строго, – внапрасне побожиться – черта лизнуть!

Тщательно сложив обе половины изложницы, кузнец крепко обвязал двойной брусок веревкой и поставил его ребром у наковальни на край дубовой колоды, отверстием кверху.

– Вот и льяк готов, – промолвил он и, обратясь к сыну, добавил: – А ты посматривай, как золото плавится. Кликни, когда в готовности будет.

Чтобы не терять времени, Полтинка достал серебряный, тонко плющенный лист, с одной стороны позолоченный.

– Вот купец наш, Голубев Митрофан, приказал оклад изделать. Обещался он монастырю образом Пречистые Матери. В Ростове Великом писан образ-то и зело красен...

Полтинка достал с божницы образ, писанный на кипарисовой доске, и повернул его лицом к свету. Радугой заиграли краски на доске. Одежды Богоматери и Младенца ее были и синие, и зеленые, и алые, и рудо-желтые, а у ворота, на груди, на рукавах и запястьях блестя узоры позолотой, то в виде цветов и листочков, то золотились тонкими нитями, завитками и решетками. Засмотрелся на образ Иван, никогда образов без золотых и серебряных риз он не видел и дивился.

– Подобно крыльям бабочек, – задумчиво сказал он и с недоумением добавил: – Пошто же под окладом красу такую хоронят?

– Так святыми отцами указано, – сурово молвил Полтинка и, взяв в руки железный чекан, резанный вроде печати, добавил: – Вот такими чеканками я и бью басму. – Он укрепил на дубовой доске позолоченный листик плющеного серебра, уже заранее размеченный, где нужно будет вырезать отверстия для ликов и рук, а где обозначить одежды и складки на них. – Вот сейчас почну я поле вокруг ликов и одежд обивать. Будет оно ровное, якобы стена расписная, а на сем поле, когда лист тыльной стороной вверх положу, тела и одежды вдавлю, чтобы тулово, руки и ноги виделись...

Наставив чекан, Полтинка начал бить по нему осторожно небольшим молотком. Работал он споро, быстро передвигая чекан по листу. Все поле, как прозрачной решеткой, покрылось на глазах Ивана однообразным рисунком, а среди него остались гладкими лишь очертания тела Богоматери и Младенца.

– Готово, тятенька! – крикнул Сенька. – Делай пробу...

Бросив чекан и молоток, Полтинка подбежал к горну. Повозился там немного и приказал Сеньке:

– Воронку поставь на льяк-то!

Когда Сенька поставил воронку, схватил кузнец большие круглые, как ухват, щипцы, охватил ими толстостенный плавильный горшок, ступкой сделанный, и понес к изложнице.

Белоогненный сплав плескался в открытом горшке, и от сиянья его резало в глазах. Иван жадно следил, как ловко накренил плавильную ступку Полтинка, а через край ее тонкой струей побежал огненный ручеек в воронку, булькая, как вода.

– Будя! – крикнул Сенька отцу.

Тот, повернув плавильный горшок, отнес его к горну. Сенька же стоял неподвижно, придерживая воронку.

– Э, да ты здесь, сиз голубчик дорогой! – входя в кузницу и уж навеселе, крикнул радостно Илейка-звонарь, кланяясь Ивану. – А я с вестями, други мои. Пригонил из Муромы ключник наш, Лавёр Колесо. В Москве, говорит, в самой Покров, в шесть часов ночи, трясение земли было. Кремль и посад весь и храмы все поколебались.

– Господи, помилуй и сохрани, – перекрестился Васюк.

Перекрестился и Полтинка.

– Знамение Божие, – сказал он, – а что предвещает, неведомо: наказание али милость Божию...

– Предупреждение, – промолвил строго Васюк, – народу знаменье за смуту московскую!

– А може, князям? – с усмешкой возразил Илейка. – Смуты-то князи сколь промеж себя деют? Христиан на христиан ведут, а поганые радуются. За княжие грехи сие...

Иван удивленными глазами смотрел на собеседников и ничего не понимал.

– Како же трясение земли бывает? – спросил он. – Пошто трясется она?..

– Колебание, княже, – важно ответил Илейка, – словно ты не на тверди стоишь, а в челноке утлом и волной ты шатает. Страх велик оттого в сердце бывает, а людие во многой скорби и безумии кричат и стенают... Потому опоры под ногами своими не чувят. – Илейка, видя, что речи его любопытны для княжича, тряхнул охмелевшей головой и продолжал: – А трясенье оттого, что земля-то на трех китах стоит. Прогневят Господа людие, и прилетит архангел с золотым копием и ткнет кита, как медведя рогатиной, а тот и поворотится да так, инда вся земля восколеблется, моря-окияны заплещутся, люди и звери все попадают, окорачь поползут...

Илейка внезапно оборвал свое красноречие, вспомнив, что сегодня монахи с сиротами своими осенний ез⁵⁷ закончили и теперь вот к вечеру пробовать будут, ловлю начнут.

– Иванушка, сиз голубчик, – заговорил он весело, – да вот в сей часец Данилка сюда прибежит. Ез сторожить я его поставил, а сам сюды, сказывали дворские, к Кузнецким-де воротам ты пошел...

– А когда же крест вынимать? – перебивая звонаря, спросил княжич Иван у Полтинки.

– Не скоро, Иванушка, долго стыть золоту надобно, а горяче-то и память и погнуть можно.

Княжичу Ивану стало досадно, но делать нечего – приходилось ждать до завтра. Проходя мимо лотков для торговли готовыми изделиями, увидел он там серебряные серьги, кольца и кресты тельные. Внимательно осмотрел он все эти дешевые предметы для рынка и выбрал две пары серег одинаковых покрупнее, в виде круглых кольчиков с четырьмя подвесками золочеными, а одну пару поменьше – каждая серьга из трех шариков с позолотой решетчатой.

– Купи их мне, Васюк, – сказал он и, помедлив немного, добавил: – Хочу Ульянушке и Дуняхе подарить, а вот малые – Дарьюшке, а то она в медных ходит...

Данилка подбежал к ним со всех ног.

– Иванушка, – торопился он, – в сей вот часец кошель потоплять будут!

Готов ез-то! Рыбы – сила! Лещ, бают, в озеро пошел, когда еще ез ставили.

⁵⁷ Ез, или кол – этим названием в старину обозначали сплошную перегородку из кольев и прутьев через реку с одним отверстием посередине для прохода рыбы, через которое она попадала в вершу или кошель.

– Он, лещ-то, – вмешался Илейка, – к зиме глубину ищет, а пока еще жирует. Потом же всей силой в омутах спать заляжет.

– Идем, дядя Илья, – прервал его Данилка, – чернецы скорей иттить велели! Сила тамо леща-то, сила!

Пыл Данилки захватил всех. Побежал с княжичем и Сенька Полтинкин.

– И я прибегу, – крикнул им вслед сам Полтинка, – токмо лавку да кузницу на замки замкну!

На реке уж народ толпился против самого еза. Посредине же еза, что реку всю поперек перерезал, отверстие сделано аршина в два шириной, а за ним, против течения, тоже аршина на два отступя, опять ограждение из кольев и хвороста. Около ограждения этого рыбаки сидят в лодках и на веревках держат большое решето, из ивовых ветвей сплетенное, глубокое, и камни в него положены, чтобы на дно потонуть могло.

– Княжич, княжич! – закричали на берегу, снимая шапки и кланаясь.

Иван вместе с Васюком и Илейкой прошел к лодке и выехал на середину реки, к загороди, где был решетчатый кошель на веревках.

– Здорово, княжич! – встретил его монах и крикнул рыбакам: – Потопляй кошель!..

Рыбаки отпустили веревки, и кошель, сразу наполняясь водой, скрылся в глубине.

– Теперь слушай, Иванушка, – сказал Илейка княжичу, – когда зазвонит вон тот колокольчик. Как зазвонит, ну и тащи решето!

– А кто зазвонит-то?

– Рыба сама зазвонит, – хитро подмигивая, ответил Илейка.

Иван подумал, что старик смеется над ним, и брови нахмурил.

– Да ты не сердчай, а пойми, – продолжал Илейка. – Рыба-то в загон, к решету пойдет, а через прорезь-то в езу толстые нити протянуты и с веревкой у колокольчика связаны. Пойдет рыба и задевать почнет нити, дергать их и веревку трясти у колокольчика. Оттого и звон будет...

Иван улыбнулся. Это было хитро придумано, любил он такие выдумки.

– Токмо тут уж скорей надобно кошель наверх тащить, – продолжал Илейка, – а то назад рыба вся выскочит; тут, княжич, надобно...

Звон колокольчика словно заткнул рот Илейке. Он застыл на месте, подавшись вперед всем телом, и впился глазами в ограждение, где рыбаки, рассекая воду, быстро выбирали веревки. Вот уже показались и высокие края решета, меж которых вода так и кипела, словно в котле.

– Знатно, знатно, – громко бормотал Илейка, – ишь, ишь уйма какая!

Иван, опираясь на плечо Илейки, встал на ноги и, глядя через край кошеля, видел, как там метались и, выгибаясь, прыгали широкие серебристые лещи. Рыбаки быстро глушили их палками и бросали в лодки... Раз за разом выхватывали они из воды кошель, полный рыбы, а рыба все валом валила, конца края ей не было. Рыбаки уж устали и сменившие их уставать стали, когда княжич Иван попросился домой.

На берегу Трубежа пылали костры – уху варили, а братия монастырская с сиротами и рыбаками пререкалась, самоуправством корила. В одном месте, где проходил княжич Иван, шумели пуще, чем в прочих.

Седобородый монах кричал и грозился среди сирот монастырских. Не успел Иван разобратъ толком, что тут делается, как обступили его со всех сторон.

– Вот, княже! – кричал рослый мужик. – Весь я тут: шапка волосая, рукавицы своекожаны. А хоть шкура овечья, да душа человечья!.. Где же правда-то?

– Стой, не реви, – остановил его другой. – Ты вот что разумеи, княже. Мы монастырю-то засов⁵⁸ в лесу высекли и сюда вывезли, а зато нам токмо по хлебу да по осьмине толокна на душу. Забили кол и засов засовали, по хлебу же дали. Да за ужище за езовые⁵⁹ по хлебу на выть⁶⁰ да по осьмине толокна.

– Что ж нам, и ухи не похлебать, – снова зашумел рослый мужик, – всю рыбу не съедим, хватит и братии, а нам еще к зиме кол и засов для них вымать надобно будет.

Монах подошел к княжичу и сказал со злобой:

– Не верь им, княже, ибо пьяницы и ленивицы велии. Богу послужити усердия не имеют. Иди с Богом, княже, спаси тя Христос.

Княжич посмотрел на монаха и вспомнил слова старой государыни, в Москве еще ему, во время смуты, сказанные: «Богу молись, а чернецам не верь». Молча поклонился он монаху и быстро пошел прочь.

В хоромах княжичей в своем покое принимал Алексей Андреевич гостя, дворецкого Константина Ивановича, между делом к нему заглянувшего. Пили мед стоялый, заедая коврижками. Коврижки местные были, переяславльские, Константин Иванович на торге купил и другу своему принес.

– Когда же государь-то будет? – спросил дьяк. – Ведь уж дня три, как конник-то с сеунчем пригнал. А ежели князь из Муром в тот же день выехал, то и ему время здесь быти...

– А може, князь два дня, а то и три в Муроме простоят? Да и скакать-то не станет, как конник воеводы Оболенского. Може, и раны еще у него болят. Чаю, все же дня через два будет. Так и государыня Софья Витовтовна ожидает.

– Великое разумение во всем у государыни, – заметил почтительно Алексей Андреевич. – В нее да в деда своего, Василь Митрича, и наш Иванушка.

– Истинно, Лексей Андреич. Не видал я и слыхом не слыхал, чтобы дитя было так мудро. Дивятся ему люди.

– Не токмо с разумом да борзостью все он ведать может, но и всем естеством своим и станом не дитя он, а отроку подобен. За многих одному ему от Бога столь много дано...

– Истинно, истинно, Лексей Андреич, а еще и другое скажу тебе. Ныне время у всех разум вострит. Время наше вельми трудное и злое. Как вран хищный, оно прямо в темя клюет всякому! Данилка вот мой, всего по двенадцатому году, а баит и о смутах, и о ратях, и о делах государевых...

– Да, время, – согласился задумчиво дьяк, – время грубое, жестокое, как рожон железный на всякого прет. И старые и молодые от бед всяких разумнее стали, а те, которых Бог одарил, и того наипаче. – Дьяк случайно взглянул в окно и, увидев Ивана на крыльце хором, быстро промолвил: – А вот и княжич пришел!

Константин Иванович встал, а Алексей Андреевич поспешно поставил в поставец сулею с медом, оставив на столе только свою недопитую чарку и блюдо с коврижками.

– Мы ныне, – продолжал дьяк, убирая и пустую чарку Константина Ивановича, – будем числа учить. Учение сие тяжко, а надо же ведать человеку числа недель, месяцев, лет и пасхалий,⁶¹ ведать, как числить выти и деньги, как земли мерять и прочее.

– Худая голова моя для дел мысленных, Лексей Андреич, – прервал его Константин Иванович и, поклонясь вошедшему Ивану, сказал: – Здравствуй, Иванушка, отягчил наставник-то твой мысли мои убогие.

⁵⁸ Засов – в данном случае колья и хворост для еза.

⁵⁹ Ужище – веревка; ужищазовые – рыболовные снасти для еза.

⁶⁰ Выть – в древности имело несколько значений: 1) мера земли, 2) тяговый участок для определения размера подати, 3) время работы, «урок», 4) роспись налогов, а в данном случае – рабочее время от еды до еды, почему и день делили на три-четыре выти.

⁶¹ Пасхалия – таблица для вычисления месяцев и чисел времени Пасхи, вперед на многие годы.

Иван улыбнулся и молча сел за стол подле Алексея Андреевича, а дворецкий вышел.

– Хочешь, Иванушка? – предложил ласково дьяк, указывая на коврижки, принесенные дворецким. – Вкуси от переяславльских снедей.

Иван, о чем-то думая, молча взял коврижку и, откусывая понемногу, стал есть. Дьяк, поглядывая на него, допил мед из своей чарки и спросил:

– Ну, княже, что смущает тя? Вижу по лику твоему, что хочешь нешто неведомое мыслию объять...

– Отчего трясение земли, Лексей Андреич? – начал Иван медленно. – Сказывал мне Илейка, да не верю яз. Говорит он, будто земля на трех китах держится. Когда же ангел золотым копием прободет кита...

– Хе-хе! – весело засмеялся дьяк. – Умница ты, Иванушка. Не верь ты невеждам глупым. Токмо омрачением мысленным так сказывать можно. Разумно ли допустить, чтоб земля, и храмы Божии, и святые угодники, и сам святой Иерусалим-град на тварях покоились?

– На чем же земля держится? – спросил нетерпеливо Иван, не спуская глаз со своего наставника.

– Стоит земля сама на себе, – медленно и вразумительно ответил Алексей Андреевич, – ибо в Святом Писании сказано: «Ты утвердил, Господи, землю на ее основании!»

– Как же на самой себе? – не понимая и разводя руками, спросил опять Иван. – Вот чарка – на столе стоит, стол – на полу хором, хоромы – на земле, а земля как же? Не разумею...

Дьяк наморщил лоб, собираясь с мыслями, и вдруг, весело усмехнувшись, сказал быстро:

– Земля в океяне, яко доска плавает, основание же ее о четырех углах. По краям земли горы высокие. Полнощные северные высоты выше всех прочих – всю ночь за ними солнце скрывается. Заходит оно за горы на западе и, обойдя северные, выходит опять из-за восточной высоты, подобной во всем западной. Отселе течет солнце над землей ввысь к полудню, а с полудня вниз к западу и там за гору уходит и в ночи по океяну низко летит, но не омочась нигде...

Иван смотрел прямо в рот Алексею Андреевичу, жадно ловя каждое слово, а когда тот окончил, долго еще сидел неподвижно. Странно ему было и дивно, как у часовой ветхой башенки, когда он часы самозвонные впервые увидел. Он чувствовал, как все кружится в голове его и будто глазами он видит и горы земные и как солнце течет, снижаясь к заходу, а потом мчится над океаном. Много раз проходит оно вокруг земли, как видение...

– Иванушка! – окликнул его дьяк, видя, что княжич как бы не в себе. – Что ты недвижим, словно каменный?

Княжич вздрогнул и улыбнулся.

– Видел яз все, Лексей Андреич, все, что ты сказывал мне, – произнес он, будто просыпаясь, и, совсем оживившись, добавил: – Скажи мне теперь, пошто же бывает земли трясение?

– Разумен ты, княже, вельми разумен, – радостно заговорил дьяк, – и есть хотение у меня все, что мне ведомо, тебе преподать. Внимай же, Иванушка. В земле суть скважины и щели глубокие. Когда же ветры внидут в подземные щели и скважины, а оттуда исходить не могут, не могут прорваться вон, тогда от напора их дрожит земля, как дрожит мачта, когда парус полон ветру.

Ликующий звон-перезвон во все колокола, как на пасху, загудел над Переяславлем Залеским. Вскочил с лавки княжич Иван, а дьяк закричал весело и зычно:

– Государь наш, князь великий приехал!..

Через крытые сенцы перебежал княжич Иван в княжие хоромы, но покои там все пусты были. Выскочил он в переднюю, а потом и на красное крыльцо.

Видит, конный отряд подъезжает, а матушка бегом вниз спешит. Вот и отец подъехал в своих золотых доспехах. Помчался Иван по ступеням лестницы и сам не помнил, как очу-

тился около отца. Видит, обнимает отец матушку, целует ее, плачут они оба от радости. У отца голос дрожит, и все он одно и то же повторяет с нежностью и лаской:

– Сугревушка ты моя теплая. Сердца моего радость...

Успокоилась Марья Ярославна. Обернувшись, заметил отец Ивана. Благословил его, поцеловал и, обнимая жену и сына, стал подыматься на красное крыльцо. Ждет их там старая государыня Софья Витовтовна, и Ульянушка с Юрием тут же.

Строгая стоит старая государыня, но глаза ее оторваться от сына не могут. Взглянул на нее великий князь и, оставив жену и сына, бросился к ногам ее, обнимает колени ей, руки целует. Неподвижно стоит Софья Витовтовна, только губы у нее дергаются да глаза самоцветами сияют. Такие же лучистые, ясные глаза и у сына ее Василия и у внука Юрия.

– Не чаял увидеть тебя, государыня-матушка, – говорит Василий Васильевич, подымаясь с колен.

Дрогнула старая государыня, охватила порывисто голову сына, прижала к груди своей и замерла совсем, глаза закрыла, а у ресниц крупными каплями слезы стоят. Отодвинула опять от себя сына, не насмотрится.

– Рожоное мое, – шепчет ласково и добавляет с упреком: – Для Руси ты князь великий, а для меня малый... Малай,⁶² как татары говорят, совсем малай!

Нежные слова говорит Софья Витовтовна, а Ивану почему-то больно и обидно за отца. Никак он понять не может, отчего это он не умеет все сказать и сделать, как бабунька. У всех слова какие-то неверные, ничего от них не происходит, а у нее каждое слово как топором вырублено. Скажет она, и другим больше говорить нечего.

Смотрит княжич на бабушку и на отца, и кажется ему, будто бы тот такой же мальчик перед Софьей Витовтовной, как и он сам. Горько это и непонятно Ивану, но некогда все уразуметь – опять чьи-то кони к хоромам скачут. Взглянув на улицу, увидела старая государыня подъезжавшего к крыльцу Касима-царевича со своими нукерами. Отстранила она сына и сказала:

– Благослови Юрья, а потом гостей принимай своих. А яз прикажу к обеду накрывать в столовой избе.⁶³

– Матушка, сей вот – царевич Касим, – поясняет Василий Васильевич, – через его помочь великую имею, и клялся он мне на кинжале...

– Шемяка на кресте тебе клялся, – сурово перебила его Софья Витовтовна.

– Он у меня в передовом отряде. С Улу-Махметом в распре и боле того – с братом своим, ханом Мангутеком...

– Встреть его, сынок, на крыльце, проводи к завтраку, проси, чем Бог послал. Не гадали мы, что на два дня ты раньше приедешь...

– Яз вперед погнал, а то обоз-то наш долго идет.

– Ладно, сынок, – сказала Софья Витовтовна, – после обеда, как гостя на покой отведешь, приходи ко мне. Все скажешь, и обо всем мы с тобой подумаем, что и как деять нужно...

Кивнула она Константину Ивановичу, который тут же стоял, на случай.

– Слышал яз речи твои, государыня, – быстро заговорил тот, – все приготовлю, как водится. Токмо вот государю поклонюсь.

Земно кланяясь, поцеловал он руку Василию Васильевичу и заторопился в хоромы слугами княжими распорядиться в столовой избе: для князя, бояр и гостей обед приготовить.

– Не забудь, Иваныч, – крикнула вслед ему Софья Витовтовна, – молебную нарядить в крестовой! Спосылай к Спас-Преображению.

Василий Васильевич радостно улыбнулся и сказал матери:

⁶² Малай – мальчик.

⁶³ Столовая изба – строилась у князей перед жилыми хоромами, специально для торжественных обедов и приемов.

– Знаешь, мати, владыка Иона дал мне диакона Ферапонта в Москву из Мурома. Глас же у Ферапонта такой густой, словно рев у тура лесного!..

Глава 7

О злом совете Шемякином

Заслоняя глаза от заходящего солнца, толстый, длинноротый тивун Евстратыч важно идет в богатой однорядке по мельничной плотине скудоводной речки Можайки.

– Эй, Юшка, дуй ты горой! – зычно кричит он. – Куды ты заткнулся, старый клин?

Только подходя к мельничному колесу, увидел он старого плотника, проверяющего вновь забитые колья, оплетенные хворостом.

– И что ты деешь, лихой дьявол?! – с гневом крикнул ему тивун.

Плотник Юшка досадливо нахмурился, обернулся. Это был складный жилистый старик, знавший себе цену.

– А ты что орешь-то, как скажонный? – сказал он спокойно. – Кой бес ты укусил?

– Ах ты, старый пес, – пуще закричал Евстратыч, – ужо улью те штей на ложку! Гляди-ка, солнце-то где, а у тебя ништо не готово. Воевода-то что повелел? Все заслоны плотин вборзе спущать! Ах, ежова твоя башка...

– Ахал бы ты, дядя, на себя глядя, – сердито оборвал старый Юшка тивуна и презрительно пробормотал: – Ишь тоже, свиное узорочье!..

Евстратыч совсем взбесился:

– Как же ты, холщовы порты, тивуна дворского можешь так лаять?..

– Сам из холщовых портов, из сирот в тивуны вылез. Мы и без тебя знаем, что делать. Спаси-то много, а токмо собака-то и в собольей шубе блох искать будет! – отрезал старик и, не глядя на тивуна, стал указывать сиротам, где подсыпать надо на хворост глины да щебня.

– Мотри, Юшка, – пригрозил ему вслед тивун, – до князя доведу!..

Озорной старик в ответ выгнул зад свой к тивуну и, похлопав себя по мягким частям, крикнул с вызывающей дерзкой веселостью:

– Накося!..

Тивун плюнул от злости и пошел прочь с плотины, а Юшка громко крикнул своему помощнику, чтобы и Евстратыч слышал:

– Тивун тоже! По бороде-то блажен муж, а по уму – вскую шатаешься! Ну да пропади он, а ты, Степан, спущай все затворы. Потешим воеводу. К ночи наводним до краев все рвы и у града и у посада! Третий день сироты – мужики и женки – с рассвета до темноты на четыре выти работают вокруг града Можайска и перед посадом его. Как только ведомо стало, что великий князь из Курмышы Улу-Махметом отпущен, а Шемяка из Галича в Углич побегал, приказал князь Иван Андреевич засеки делать и мосты на Москве-реке подрубить. В лесах вокруг Можайска уже все дороги, прямоезжие и окольные, завалены засеками из цельных деревьев. Лежат деревья там сучьями и вершинами навстречу ворогам князя Можайского, и мосты везде уж подрублены. Молится князь с духовенством в соборе пред Чудотворной иконой Богоматери, что явилась при отце его, князе Андрее Димитриевиче. Воевода же его смотрит, чтобы вокруг града, на одну версту от стен отступя, крепче и выше засеки валили, чтобы, укрепив плотины на Можайке и Петровке, что в Москву-реку у Можайска впадают, наводнить все рвы градные, предстенные. Нет теперь ни проезду, ни проходу к Можайску, кроме тайной дорожки окружной, чужим неведомой. Скачут по той дорожке день и ночь гонцы – с Иваном Старковым и прочими в Москве князь Иван Андреевич через Звенигород ссылается, да с Сергиевым монастырем, да через Рузу и Тверь и с самим Шемякой, что в далеком Угличе втайне рать собирает...

Но у князей одно, а у сирот свое на уме, свои дела.

– Пошто, Семеныч, тивун-то на тебя ярился? – спросил Степан у Юшки.

– С жиру бесится. Вишь, какой ходит боярин брюхатый.

– А ему горе в чем? Жнет не сеет, ест не веет! Не то что у нас: хлеб с солью да водица голью...

– От нас же, сирот, урежет, – заговорил со злобой ражий парень, опускавший заслон, – с каждого сощипнет, ирод! Вон посулил овса на конь по два лука.⁶⁴ А где наши кони овес-то ели?

– А нам где пшено да заспой овсяной?! – голосисто выкликнула женка, притащившая хворост.

– Что ты, Марфуша, не гневи Бога, – ответил ей парень, передразнивая голос тивуна, – рад бы и каши сварить, да вишь, куры крупу расклевали!..

– Тать он! – резко отчеканил старый плотник. – Потому и не боюсь его, что он князем грозитя, а сам князя боится...

– Борода у его апостольская, да усок дьявольский.

– Что ж поделаешь. Кому кнут да вожжи в руки, а кому хомут на шею.

– Бают, matka его женка была мужелюбица лютая. Согрешила не то с боярином, не то из духовных с кем. По то и рука у его есть. Наверх-то, бают, маткин любленник его вытащил.

– А ляд с ним! – отмахнулся Юшка. – Не до его ныне. Вот пойдет на нас великий князь московской, лихо нам будет: и сечи, и пожар, и глад, и полон.

– Эх, беда горькая, – вздохнул Степан, – пошто токмо князь наш с Шемякой спутался? Были бы мы в стороне – сидели бы смирно и ели бы жирно.

– Верно, – одобрил Юшка. – В землю бы лег да укрылся, токмо бы глаза того не видали, как наши христиане, словно поганые, у христиан же полон берут! Нас, сирот, жен и детей наших холопами деют, продают басурманам в неволю.

Не так все стало, как думал князь Иван Андреевич. Прошло вот уже недели три, а укрепленья в Можайске, слава богу, и ныне ему совсем не надобны. Крепко засел в Москве великий князь с татарами – не до Шемяки ему теперь. Шемяка же втайне ушел из Углича и стал с войском в Рузе, во граде своем удельном. Сюда же по вызову спешному прискакал сегодня из Можайска и князь Иван Андреевич со своей стражей.

Князь Димитрий Юрьевич самолично встретил дорогого гостя на красном крыльце и, накормив его обедом, прямо повел в свою переднюю, где уже сидели за медами и водками все их друзья и доброхоты. Были тут бояре, воеводы, дьяки, гости и купцы галицкие, можайские, тверские и московские, попы и чернецы из Чудова и Сергиева монастырей, и сам богатый гость Иван Федорович Старков, что ночью еще из Москвы пригнал. Спешили все, чтобы в два дня совет закончить да поспеть куда надо.

В дверях передней князь Иван Андреевич склонился к Шемяке и спросил вполголоса:

– Какие из Москвы вести?

– Боится Василий-то! За стенами хоронится, – громко, со злой усмешкой ответил Шемяка и добавил еще громче: – Да ничего, уследим птичку, когда из гнезда выпорхнет. На то у нас и ястребы есть!..

Он громко расхохотался, а кругом подхватили злорадно и угодливо:

– Нет, теперь не сорвется с когтя.

– Ощиплем все перышки, а то не в меру властен стал! Не токмо купцам, а и боярам обиды чинит...

Когда все затихли, Шемяка сел за стол, отпил водки и заговорил снова:

– Все ныне мы вкупе, и все купно напряжем мышцы своя на борьбу с ворогом нашим лютым. Клянусь яз тебе, князь Иван Андреич, боярам и гостям великого князя тверского Бориса Лександрыча, и московским боярам и гостям, и тебе, Иван Федорыч, в особину, и отцам духовным, ибо они за правое дело наше молельщики и наши способники.

⁶⁴ Лукно – деревянная посуда с обручами, мера емкости.

Димитрий Юрьевич поклонился всем в пояс и, приняв ответные поклоны, продолжал, снова садясь за стол:

– Злодей и душегубец князь Василий, брата моего ослепивший, ныне с татарами погаными всех нас именья, казны и вотчин лишить хочет. Яко волк ненасытный, жаждет крови испить нашей и все от нас отъяти! Двести тысяч рублей окупа посулил по себе он царю казанскому да еще много от золота и серебра и от одежды.

– Доживем с ним до клюки, что ни хлеба, ни муки! – яростно выкрикнул боярин Никита Константинович Добрынский.

– Истинно, истинно! Многие и великие тяготы на нас, окаянный, кладет! – зашумели кругом. – А где возьмем?! Через силу и конь не тянет.

– Все может Каин-братоубийца, – вскакивая со скамьи, еще яростней заговорил Шемяка. – В железы и меня он ковал, и кого хошь закует, ослепит и убьет из корысти и лютой злобы! Всю старину, отчину и дедину порушил! А вы, бояре тверские, и то доведите князю своему Борису Лександрычу, что Василий-то крест целовал царю Улу-Махмету отдать ему все княжение московское и все города и волости других князей! Сам же хочет он сесть на тверском княжении, князя вашего согнать, из Твери его выбить!..

Шемяка, позеленев весь от гнева, тяжело сел на свое место и жадно припал губами к стопе с медом.

– А татары? – спросил среди наставшей тишины молодой тверской купец Кузьма Аверьянов. – Не захотят они окуп из рук выпущать...

Насторожил всех этот разумный вопрос и смутил многих.

– Что с Василья берут, из того с нас вполонину возьмут, – ответил Никита Константинович, – а ежели и столько ж, за то не дадим мы поганым ни городов, ни волостей, наипаче княжеств своих!

Твердо и дерзко сказал это боярин Добрынский, а все сидят тихо, решенья в уме не имеют, смотрят на Шемяку, ждут, что скажет, но Димитрий Юрьевич не мог уж говорить более, и слово взял Иван Андреевич.

– Нам, князьям, – заговорил он, как всегда, вяло и лениво, но глаза его хитро выглядывали из-под одутловатых тяжелых век и бегали, как мыши, – всем нам, говорю, кто тут есть, надобно разумом добре все обмерить. Нас Москва давно уж слугами сделала, а ныне хочет и в рабство поганым отдать. Вот в чем беда наша, а не окуп! Пошто нам окуп давать за Василья? Пусть в полоне будет! Вы же помыслите о себе, бояре, и гости, и купцы, и вы, отцы духовные! Всех нас, жен и детей наших, все именье, казну и все вотчины наши дает князь Василь Василич в руки агарян поганых на веки веков.

– Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! – воскликнул, вскакивая, сухой седобородый чернец, приезжавший недавно в Галич к Шемяке. – Братие и сынове! Се час наступи и в горести соедини сердца наши. Аз есмь раб Божий Поликарп из Сергиева монастыря. Молю вас, братие и сынове, помыслите токмо о поругании святынь и храмов Божиих! Осквернят агаряне сосуды и ризы церковные, захватят кресты и оклады золотые, наложут на всех дани и выходы. Поставят над нами, как при дедах наших было, баскаков, сборщиков, своих поганых мытарей! Ополчимся же на агаряны, прекратим свои распри, братоубийства и разорение, яко же...

Монах неожиданно смолк, так как боярин Никита Константинович, ущипнув его, дернул за рясу. Отец Поликарп понял, что говорит не то, что надо, и, переменяя мысль, заговорил с новым пылом:

– Смирим мышцей своей братоубийцу Каина, князя Василья, Иуду, предающего церковь Христову!

– В железы Василья окаянного! – перебил монаха неистовым криком Иван Федорович Старков. – В заточенье навеки, а перед тем ослепить, как ослепил он князя Василья Косого!

Дрогнули все от всполошного крика, гулом и гомоном загудела передняя Шемяки, словно осиное гнездо разворошили, и жужжит все вокруг злом, наливается ядом. Иван Старков стоит молча и всех зорко острым взглядом осматривает. Потом, когда все понемногу стихли, выйдя из-за стола, обернулся он к Шемяке и поклонился ему до земли.

– Челом бью тебе, князь Димитрий Юрьевич, от всей Москвы. Приходи и садись на великокняжий стол, а мы тебе ворота в Кремль со звоном церковным отворим! Спаси нас от горестей и поношений, от живота подъяремного, от ига поганных татар и от слуги их Василья!..

– Поспешим же в крестовую! – тоже встав из-за стола, громко и властно молвил князь Иван Андреевич. – Крест поцелуем великому князю московскому Димитрию Юрьевичу на рать идти под его рукой против безбожных татар и Василья. Боярин же Никита Костянтиныч подробно расскажет потом каждому, что и как надлежит деяти к пользе нашей...

После утверждения целованием крестным на согласие и помощь друг другу развели слуги дворские на покой до завтра бояр, воевод, гостей и купцов по княжим и боярским хоромам, а духовные, у попа, у дьякона и у дьячка разместились по чину своему и по знакомству. Хотел было и Бунко уйти вместе с другом своим тверским купцом Аверьяновым, да князь Иван Андреевич задержал его.

– Повремени малость, Семен Архипыч, – сказал он, – нужен ты будешь государю Димитрию Юрьичу.

Бунко стал у дверей передней, шепнув Аверьянову:

– Обожди, Михайлыч, на княжом дворе, я вборзе управлюсь.

– Приходи лучше к вечерне, – ответил Аверьянов, – буду я у правого крылоса, помолимся вместе, а почивать к Федорцу пойдем. Моим гостем будешь...

Племянник родной Кузьме Михайловичу Федорец-то. Кузницу свою в Рузе держит – для дяди из серебра работает со своими подручными по мелочи всякой: кольца, серьги, крестики тельные, а главное – блюда, чарки да ложки серебряные и оловянные льет и кует для простого звания. Идет это все на ладьях Аверьяновых из Твери и вверх и вниз по Волге и по притокам ее во все стороны. У мордвы, у черемисов, у чувашей да у болгар и югорцев с большой выгодой приказчики Аверьяновы меняют эти товары кузнецкие на меха всякие: лисьи, собольи, бобровые, горностаевые, куньи, беличьи, пардусовые и прочие...

Вспоминает обо всем этом почему-то Бунко, словно отогнать мысли хочет о том, что видел и слышал. Думает, что Шемяка ему делать прикажет, путается все в голове, и сомнения берут – лихим и несправедным многое теперь ему кажется. Службу свою в Москве у великого князя вспомнил.

– Душу хочу тебе открыть, Михайлыч, – шепчет он на ухо Аверьянову.

– Жду тебя, друже, – отвечал тот уныло, – болит и у меня сердце...

Остались в княжой передней только оба князя, боярин Никита Константинович да гость богатый московский Иван Федорович Старков.

– Все ли верно, что ты рассказываешь, Иван Федорыч? – услышал Бунко слова Шемяки.

– Верно и неверно, – с усмешкой ответил Старков, – а мы по-купецки: не обманешь – не продашь!

– Не бойся, государь, – воскликнул Никита Константинович, – задавим Василья, не вырвется!..

– Вот вызнать бы токмо, как Борис Лександрыч тверской мыслит? – медленно молвил князь Иван Андреевич. – Захочет ли он с Васильем напрямки в лоб биться?

– Помогать-то будет, – уверенно сказал Шемяка. – Пособит втайне, как ране брату моему пособлял, и коней он ему давал против Василья и доспехов на триста конников. Не менее нас, чай, разумеет, что податься нам некуда. Коли не ослабим князей московских, они не токмо нас, но и его сожрут. – Оглянувшись, увидел Шемяка Бунко и весело спросил князя Можайского: – А сей человек и есть Бунко, который у тебя гонцами твоими ведает?

– Он самый, государь, – оживился Иван Андреевич, – через него яз с тобой ссылался. Добре нарядил он вестовую гоньбу, особливо в Москву. От Можайска до первого стана скакал мой гонец тридцать верст за один гон в два часа, а потом другого коня брал и в сей же часец скакал до Звенигорода. А там встречал его гонец из Москвы. Мой гонец ко мне скакал с вестями от Ивана Федорыча, а московский-то, вести от моего узнавши, обратно в Москву гнал. Так яз из Москвы, а Старков от меня всё в один день ведали.

– А ныне нам, государь, – вмешался Старков, – и того нужней борзость в вестях. Прикажи Бунко и у нас гоньбу добре нарядить. Поимать надо Василья нечаянно, дабы ни народ, ни бояре того не ведали.

– А Москву и того ране захватить надобно, – резко крикнул Шемяка, – казну Василья поимать, его именья, княгинь!..

– Обмыслено все, государь мой, – сказал Никита Константинович, кланяясь, – не гребтись о сем, государь. Ведомо мне от чернецов сергиевских, что Василий-то хочет ко гробу преподобного ехать.

Боярин смолк, поймав предостерегающий взгляд Старкова, и, откашлявшись, продолжал:

– Наряжено все у меня для Бунко – и кони и гонцы. Надобно нам ныне же, государь, от Рузы до Звенигорода...

– Завтра к тебе, Никита Костянтиныч, Бунко придет после обеда, – перебил боярина Шемяка, – а ныне нам много еще делов обсудить надобно: и что удельным, и что монастырям дать, и, особливо – что великому князю тверскому дать, – захочет ведь он кусок пожирней всех...

– Ин, Архипыч, иди, – быстро обернулся к Бунко князь Иван Андреевич, – послужишь нам верой и правдой – будут у тебя угоды разные и казной тебя пожалуем, детям и внукам хватит...

Поклонился Бунко и вышел. Сидя за ужином в покоях у племянника Аверьянова, говорил Бунко другу своему Кузьме Михайловичу с печалью:

– Все у них купля и продажа, а о Руси и христианстве забыли...

– Князи наши будто и не государи, – отвечал ему Кузьма Михайлович, – а попы да монахи будто и не отцы духовные, а как мы – купцы, торговцы грешные, для-ради поживы.

Задумался горько Бунко и молвил тихо:

– Ныне я как просо меж двух жерновов. Мелют и мелют жернова-то, кожу с меня сдирают, а кому я на кашу попаду, о том и не ведаю. Отъехал я от Василья, от лютости нрава его ушел. Убил бы меня насмерть, ежели бы государыня Софья Витовтовна тут не случилась. Ярый зело князь-то Василий, да Москва-то о всей Руси печется, а эти два о себе токмо...

– Ты за кем же теперя? За можайским князем аль за Шемякой? – спросил у Бунко Федорец, здоровый рыжебородый мужик лет тридцати.

– Был за великим князем Васильем, – ответил Бунко, – да за обиды его отъехал к можайскому, а ныне вместе с можайским к Шемяке перешел...

– Все едино, – махнув рукой, молвил Федорец, – за всеми удельными жить беспокойно, а в Москве да в Твери как за щитом живут. – Оглядев стол, он обратился к жене ласково: – Что ж, хозяйшка, стол-то пустой? И так у нас гостьба худая – приехали к нам дорогие гости в Филиппов пост! Все ж откушайте рыбки соленой, капусты вот квашеной, репы пареной, и еще уха есть.

– Кушайте, дорогие гости, – кланяясь, просила хозяйка, – ушицы сейчас подам, а в печи у меня и каша пшенная с маслицем конопляным, – уж не взыщите...

– Все, что есть в печи, на стол мечи! – весело крикнул хозяин, разливая по чаркам крепкий мед. – А я еще сулею достану с водкой боярской!

– Гостьба гостьбой, – заговорил Кузьма Михайлович, отпивая житного кваса, – а ты скажи мне, Федорец, что людие-то здесь, в Рузе, бают? Что они о Шемяке мыслят и что о Василье? Князь наш Борис Лександрович, может, и спросит меня.

Федорец потрянул густыми кудрями и сказал резко:

– Народ за того, кто ему покой даст от ратей, от набегов татарских, от полона и неволи в холопах. Не хочет он и брани междоусобной, ибо разоренье от обид княжих горше татарского. За Москву стоят людие!

– Ну и слава Те, Господи, – весело отозвался купец Аверьянов. – Будет Москва сильной – будет и Тверь торговать по всей Волге до самой Астрахани, что у моря Хвалынского! Выпьем теперь и водки за князей великих московского и тверского. Борису-то Лександрычу не в обиду сие, сам он разумеет, что без Москвы и Твери худо...

Выпил Бунко за Василия Васильевича и, заедая чарку боярской овсяным киселем с сытой, сказал Кузьме Даниловичу:

– Хоша неведомо, кому я на кашу попаду, да за Русь и христианство живот свой отдам. Не в князе дело, а в людях. Что христианам на пользу, то и содею...

Глава 8 В Москве

Заговев Филиппово заговенье, выехал великий князь в Москву со своим семейством по снегу. Санний путь установился этот год задолго до Екатерины-санныцы. К Михайлову дню уж все реки замерзли, и даже Ока стала. Зима пришла дружная, совсем без оттепелей, а на Федора-студита ночью такой студ был, что в лесу деревья трещали, кора лопалась.

Княжич Иван всю дорогу с жадностью разглядывал из колымаги те самые леса и чащобы, где малину собирали и медведя встретили, когда из Москвы бежали. В серебре стояли теперь леса, и мохнатые лапы елей и сосен так набухли от снега, что даже игол не видно. Как бы и не настоящий лес, а словно из белого рыбьего зуба выточен, дух же смолистый в нем и в мороз, как и в жару, чувствуется, и воздух тут легкий и чистый, сам в грудь льется, будто пьешь его.

На полозья теперь колымаги поставлены, нет ни толчков, ни шума. Скользит колымага, чуть черкая иногда боками по сугробам. Васюк дремлет, сидя против княжича Ивана, а в глубине бора стрекочут сороки да, пролетая над дорогой, звонко каркает в морозном воздухе черный ворон. Бойко бегут лошадки по снегу, а впереди и сзади скачет стража. Конные дозоры верст на десять впереди гонят, а за ними под особой охраной обозы идут, отстав от поезда почти на полдня.

Зябнет княжич Иван, прячется в колымагу, кутается в шубу и дремлет, думая о курнике и о штях, что в обед на остановке подавали.

– Васюк, спроси Ульянушку про курник, – начал он сквозь дрему вполголоса, но, чувствуя теплоту во всем теле, заснул, не договорив того, что хотел.

Проснулся Иван, когда лошади гулко застучали ногами по крепко сбитому снегу, покрывшему бревна моста. Выглянув из колымаги, княжич неожиданно увидел огромное багровое солнце, поднимающееся из огнистой мглы, увидел и Москву, ее стены, башни, церкви, пылающие утренним заревом. Колокола гудят над городом и его окрестностями.

– Васюк, – радостно вскрикнул он, – мы домой приехали!

Все случившееся и пережитое до этого показалось вдруг Ивану далеким и давним, как бы страшным сном. Все же смутная тревога где-то затаилась в нем, и еще пытливее и острее, чем раньше, смотрел он на мир и людей своими большими черными, как у матери, глазами. Странен теперь стал его взгляд, а порой и нестерпим. Это сам Василий Васильевич заметил, когда все семейство, разместившись на первое время у бабки, в Ваганькове, село за стол.

– Что-то тяжел стал взгляд у Ивана, – сказал он вполголоса матери, – будто старик глядит...

Софья Витовтовна присмотрелась ко внуку и молвила в ответ:

– Не старик, сынок, а будущий государь.

Княжич слышал этот разговор, и что-то в нем шевельнулось новое, такое же непонятное, как и там, в Переяславле, от поцелуя Дарьюшки, но не такое радостное и нежное. Он понимал, что бабушка хвалит его, но от слов отца почему-то стало ему грустно.

Это случилось в ноябре, в семнадцатый день, и с этого дня Иван как-то замкнулся в себе и даже внешне несколько изменился. За год он еще вырос, но похудел и казался старше Данилки, особенно оттого, что при высоком росте, как это бывает с преждевременными переростками, стал сильно сутулиться. Сам же Иван не замечал этого. Внутри себя он к чему-то все прислушивался. Как-то мимо него прошел и переезд в Москву и переезд на двор воеводы московского князя Юрия Патрикеевича, женатого на родной его тетке, Марье Васильевне. Велкокняжьи хоромы сгорели дотла, а новых пока строить и не начинали. Много еще пустырей и пожарищ увидел Иван за кремлевскими стенами, когда просиживал подолгу на открытых

гульбищах Патрикеевых хором, у самой башенки-смотрильни. Задумчивым взглядом скользил он по белым снегам, застлавшим все просторы вокруг Москвы вплоть до темных далеких лесов. Мысли у него путались, катались клубком спутанным, и ничего не мог он распутать.

Вокруг же княжого двора суетились татары, бояре, гости, духовные, дьяки и воеводы. Все кипело, а Софья Витовтовна иногда сердилась и попрекала великого князя и сама решала дела. Из разговоров матери, отца и бабушки между собой Иван знал, что все теперь в Москве заняты сбором окупа и раздачей уделов татарским князьям и мурзам на кормление, заняты заключением договоров со своими князьями удельными и с монастырями.

Все же это ничем не нарушало ни распорядка жизни великокняжьей семьи, ни чина государственного великого князя, – все шло тихо и мирно, как и до войны с Улу-Махметом. Только раз один слышал Иван, как отец с горестью жаловался жене своей.

– Наказал нас Господь, Марыюшка, – говорил он, – всяк ныне на беде моей хочет прибыток иметь...

– И-и, Бог милостив! – весело отвечала ему княгиня. – Не крушись, услышал Господь молитвы мои повсенощные, вернул ты из полона и жива и здрава.

– Вот мне ко гробу преподобного Сергия надобно бы ехать. Обет ведь я в полоне-то ему дал, Марыюшка. Ну, да как с окупом свершим все, тогда и поеду...

Беседы их до конца Иван не дослушал. Увидел в окно он, что Васюк катит большое колесо от арбы к середине княжого двора, а Илейка стоит у кола, вбитого в мерзлую землю, где жердь длинная лежит с веревками и санки стоят. Данилка уж там с Дарьюшкой и Ульянушка с Юрием. В легком беличьем тулупчике и в меховых сапогах выскочил он на двор.

– Скорей, скорей, Иванушка! – закричал ему Данилка. – Сей вот часец готово все будет!

Не первый год катанье такое устраивалось. Вот Васюк поднял с Илейкой колесо и надел на кол. Потом привязали к нему один конец жерди.

– Как стрелка у часов самозвонных, – сказал Илейка, подмигивая княжичу Ивану, – гляйка, Иванушка.

Другой конец жерди Васюк крепко-накрепко привязал к санкам, пропустив его снизу над полозьями под санное днище.

– Пусть сначала снег обомнут, – сказал Илейка и, вставив другой кол в колесо между спицами, стал вертеть его.

Санки помчались по кругу, взметывая снежную пыль.

– Стой! – не выдержав, крикнул Иван. – Хочу кататься! Он нерешительно взглянул на Дарьюшку и тихо добавил: – Садись...

Княжич сел верхом впереди, уцепившись руками за передок санок, а за ним села Дарьюшка, тоже верхом, упираясь ногами в полозья. Когда санки понеслись опять по кругу и все перед глазами княжича слилось в непрерывную полосу, он почувствовал, как маленькие ручки туго охватили его сзади. Васюк с Илейкой еще налегли на колесо, ветер засвистел в лицо Ивану, а Дарьюшка вскрикнула с испугу и еще крепче прижалась к нему. Ее теплое дыхание чувствовалось ему у самой шеи и было приятно. Он быстро обернулся, неожиданно коснулся губами ее щеки и невольно поцеловал. Отвертываясь назад, он увидел ее улыбку и сияющие глаза. Но это все длилось один миг.

Он крепче схватился за сани и закрыл глаза. Кажется ему, что летит он на крыльях, и радость сладким комком дрожит у самого горла... Но вот сани замедляют и замедляют свой бег и наконец остановились.

– Меня, меня покатайте! – громко кричит Юрий.

Ульянушка усадила его на санки вместе с Данилкой.

– Мотри, Данилка, держись за передок саней. Охвати заодно и княжича, чтоб с саней-то не сбросило, – говорит она строго и добавляет, обращаясь к Илейке и Васюку: – А вы уже не вертите шибко-то!..

Вышла на двор и княгиня Марья Ярославна с Дуняхой, потянулись сюда же к колесу со всех сторон и дворские. Шум и смех пошли по двору. Прокатили Марью Ярославну с Ульянушкой, а с Дуняхой нарочно так устроили, что слетела девка с саней в самый сугроб, а может, и нарочно сама сорвалась для потехи – благо снегу-то много. Под общий хохот вскочила она и, отряхавшись и смеясь, крикнула:

– Прокатилась я, словно по пуху лебяжьему!

Хотел было Иван опять сесть в санки вместе с Дарьюшкой, да при матери почему-то побоялся, заробел совсем, а тут как раз и позвал его дьяк Алексей Андреевич в хоромы на учение грамоте.

После Рождества недели через две, когда уже хоромы начали рубить для великого князя, зашел утром к Ивану Васюк.

– Ну, княже, – сказал он, помолившись на образа и поздоровавшись, – великий князь из коней своих из ездовых повелел дать одного тебе...

– Коня? – радостно воскликнул Иван.

– Коня, – усмехнулся Васюк, – а я тебя учить стану и на конях ездить, и стрелять, и всем ратным хитростям, что вою и князю надобны...

– А доспехи надену? – с трепетом спросил княжич.

– Наденем потом и доспехи, – спокойно ответил Васюк, – а пока без доспехов. К им тоже привыкать надо.

Иван огорчился на миг, но радость, что у него свой конь теперь, заставила забыть и про доспехи. Он бросился скорей одеваться и из дверей крикнул Васюку:

– Пойдем на конюшенный двор!

Когда вернулся княжич, Васюк, поглаживая бороду, сказал важно:

– А знаешь ты, сколь за коня твоего плочено было? Шесть сороков белки, пятнадцать рублев московских! Дорогой конь! Ну идем, сам увидишь.

Когда сошли они с крыльца, Иван чуть не побежал к конюшенному двору, но Васюк шел степенно и тихо. С этого дня он стал не нянькой княжича, а учителем ратному делу. Это понял княжич и невольно стал послушней Васюку, чем раньше. Он пошел медленней, но молчать не мог.

– Какой же конь-то? – допрашивал он Васюка. – Скажи, молю тебя!

Васюк улыбнулся.

– Настоящий фарь угорской,⁶⁵ – сказал он, – иноходец. Цены ему нет на походах. Хороши и баски, горячие скакуны для ратного дела, да не угнаться за иноходцем и скакуну. Ехать же на ем все едино, что в люльке, – спать можно, совсем не трясет, вперевалку бежит...

– А какой он, – нетерпеливо перебил Иван своего нового наставника, – белый, вороной?

– Угорской-то! – возмутился Васюк. – Соловой, а навис⁶⁶ седой. Ничего еще в конях ты не разумеешь.

Княжич Иван смутился и больше не спрашивал, хотя не понимал, что значит «навис».

На конюшенном дворе Васюк тоже, как учитель княжича, стал важнее и крикнул подвернувшегося на пути младшему конюху:

– Эй, Фомушка! А ну-ка покажи княжичу его Соловка угорского, он под государем ходил...

Конюх распахнул дверь конюшни, откуда оваяло Ивана запахом конского пота и навоза. Стоя рядом с Васюком, впился он глазами в темную пасть двери, из которой у притолоки слегка белел теплый парок, клубясь в морозном воздухе. Княжичу казалось, что время идет очень медленно.

⁶⁵ Фарьугорской – венгерский конь.

⁶⁶ Навис – грива, челка и хвост.

– Но, но! – услышал он окрик Фомушки. – Ногу, ногу! Ишь, запутался...

Следом за этими словами четко застучали конские копыта по деревянному полу конюшни, и Фомушка вывел из тьмы на свет коня средней величины, изжелта-серой масти, с белесой челкой, гривой и хвостом. Застоявшаяся лошадка «играла» и, широко раздувая ноздри, жадно нюхала свежий воздух. Иван залюбовался небольшой красивой головой коня с веселыми глазами. Соловко косился на Васюка, разводя уши, и подрагивал мышцами стройных сухих ног.

– Мотри, Иванушка, – не выдержал Васюк, – постав-то какой! Ишь, как ноги стоят ладно и баско! Холка и поясница хороши, а шея – одно загляденье! А репица и хвост как лежат! Конь, княжич, редкой! И не злой, ласковый! Ишь, разбойник, глазами косит – разумеет, что о нем речь. Выезжан был добре для родителя твоего...

Васюк, взяв узду у Фомушки, похлопал Соловко по крутой шее и погладил ему белесоватую морду.

– Накось узду-то, Иванушка, – сказал Васюк, – поводи коня. Коню к тебе, а тебе к коню привыкать надобно. Погладь рукой его по ноздрям, чтобы дух твой запомнил. Не бойсь, не укусит. Смирный конь, а ты вот коврижки дай с руки.

Васюк отломил кусок медовой коврижки и положил на ладонь княжичу Ивану. Соловко сразу наставил уши и потянулся к руке.

– Ишь? Что-что, а где сладкое, враз уразумеет! – рассмеялся Васюк. – Скорометлив на коврижки-то...

Соловко будто понял и обиделся – прижав уши, он сверкнувшим глазом покосился на Васюка. Иван протянул руку к морде коня, тот опустил голову и, ласково шевеля нежными теплыми губами, коснулся ладони княжича. Подобрал коврижку, он снова ткнулся в пустую ладонь, перебирая губами, как пальцами, но, ничего не найдя, наставил уши, взглянул на Ивана и слегка всхрипнул, потом тихо и коротко проржал.

– Еще просит, – весело молвил Васюк и за спиной передал Ивану в другую руку обломок коврижки. – Токмо ты, Иванушка, враз все не давай. Разломи надвое...

Фомушка принес в охапке седло, чепрак, потник и прочую сбрую и начал обряжать коня. В это время с другого конца конюшенного двора послышался конский топот – гнал рысью Данилка на чалой лошадке с черным нависом.

– Вот обоих и буду учить. И тебе веселей, и Костянтину Иванычу уважение. Данилка-то уж один ездит, – сказал Васюк и вдруг сердито крикнул на Данилку: – Ты что, как повод-то держишь? У тебя что в руках! Конем ты правишь аль рыбу на леску ловишь?

– Василь Егорыч, – спросил Фомушка, затягивая подпруги, – путлица-то у стремян скоротить, что ли?

– А ну-ка, Иванушка, садись! – вместо ответа конюху обратился Васюк к Ивану. – Эй, Фомушка, поддержи княжичу стремя...

Княжич, стараясь быть ловким, кое-как взобрался на седло и сел довольно неуклюже. Усмешка Васюка уколола его, и он напряг все внимание, чтобы делать так, как нужно хорошему коннику. Приняв то положение, как указал Васюк, он оперся на стремяна не всей ногой, а только носками.

– Ну, путлица в самый раз! – воскликнул Фомушка. – У тебя, княжич, ноги долги, как у большого. Ишь, Господь тебя как взрастил, чуть пониже меня будешь, а я по себе путлица-то ладил.

Через два часа Иван, усталый и голодный от работы и холода, уже ездил один по конюшенному двору на своем Соловке, гордо и радостно озираясь кругом.

– Ну, теперь поезжай один к хоромам, сам государь тебя посмотрит, – сказал Васюк после того, как уснул куда-то Фомушку.

У красного крыльца, куда Иван подъехал, его встретили отец с матерью и бабкой. Василий Васильевич радостно сбежал с крыльца, сам помог сыну сойти с коня, обнял его и со слезами воскликнул дрогнувшим голосом:

– Сыне мой, в стремя ты сел!⁶⁷ Свершил ты днесь по милости Божией свой младенческий круг. Отрок отныне ты, Иванушка, надежда моя...

После Сретенья снежные дни пошли вперемежку с ясными, и радостней солнце играет на высоких сугробах и на длинных сосульках под крышами, откуда к полудню в погожие дни уж падают блестящие капельки.

– Вот, матушка, и зима к концу идет! – радостно проговорила Марья Ярославна, обшивая золотом шелковый платочек в подарок для свекрови. – Солнышку Божию душа радуется, тепла хочет.

Софья Витовтовна ласково улыбнулась.

– Ну, Марьюшка, далеко еще до тепла-то.

– Истинно, – подхватила Ульянушка, сидевшая тут же с Юрием на лавке пристенной, – будет еще семь крутых утренников. Три до Власия Кесарийского да три после, а один на Власия Севастийского – сшиби рог зимы!..

– Вот доживем до Василья-капельника, – промолвила Софья Витовтовна, откладывая вязанье, – тогда и тепло почуем. А яз и теперь рада. Тишина настала в Москве. И наши воеводы и князья татарские получили во владение свои волости и, слава Те, Господи, разъехались кто куда с послушными грамотами.

– Что ж им ждать-то, – затараторила Ульянушка, – на жирное кормление спешат, жир-то блазнит: как мухи полетели, был бы хлеб, а зубы сыщутся. Заживут теперь – одна рука в меду, а другая в сахаре!

Иван, следивший из окна в ожидании трапезы, как срывались с сосулек сверкающие капли, внимательно слушал разговоры старших.

– А пошто, – обратился он к Софье Витовтовне, – воеводы и князья татарские ездят кормиться, а не в Москве едят?

Обе великие княгини засмеялись, а Иван покраснел от смущенья.

– Не так разумеешь ты, любимик мой, – сказала бабка, – кормление не трапеза, а государево жалованье. Отец твой за службу их пожаловал волостями и дал им послушные грамоты, дабы все людие в тех волостях послушны им были, как наместникам князя великого. Зовутся они кормленщиками и в волостях своих ведают всеми делами: и суды судят и тивунов своих посылают, куда надобно. Доход же берут по наказному списку, а сверх того идут им доходы и с мыта,⁶⁸ и с перевозов, и со всякой пошлыны государевой. Государю же своему собирают в казну они подати и налоги, а когда нужда будет, и ратных людей набирают.

– Не разумею, – немного с обидой перебил ее Иван. – Тата вот в монастыри ездил кормить братию, и обозы туда посылали с хлебом да медом...

– То, любимик мой, – улыбаясь, продолжала Софья Витовтовна, – иное дело. В монастырях кормление совсем не жалованье, а жертва для братии.

Вошел в покой сам великий князь и, слыша последние слова матери, весело сказал:

– Напомнила ты мне, матушка. Хочу на Федора Стратилата али на Никифора Сирского в Озерецкое ехать по обету.

– Съезди, съезди, сыночек, – одобрила старая государыня, – отдохни от суетных дел земных. И внуков моих возьми поклониться гробу святого чудотворца. Яз же нарядила, что нужно, для братии: муки, пшена, меду, холстов и полотна.

⁶⁷ «Сесть в стремя» – выйти из младенческого возраста.

⁶⁸ Мыт – пошлина.

– Ну вот и прикажи, матушка, завтра все сие обозом везти, дабы все к приезду нашему уж в монастыре было.

– Прикажу, сыночек, – продолжала старая государыня, – а жертвы для храмов Божиих ты уж сам отвези. Собрали мы с Марьюшкой все, что есть у нас из церковного узорочья. Особливо же из того, что в Ростове Великом по шелку шито золотом и жемчугом. Херувимы и серафимы как дивно изделаны! Ризу еще с самоцветами и златом шитую для игумна... Марьюшка своими руками шила ее и в дар собору Святыя Живоначальныя Троицы обещала за твое отпущение из полона...

Когда Софья Витовтовна окончила речь, Марья Ярославна отложила свою работу и, встав, с легким поклоном молвила свекрови:

– Откушай, государыня-матушка, с нами.

– Спасибо, Марьюшка, – ответила Софья Витовтовна, – токмо пошли ты ко мне Ульянушку, пусть возьмет там сласти, что на столе стоят в трапезной – смоквы, рожки и финики. От греков вчера наши купцы привезли. Тобѣ ж, сыночек, завтра ладану отложу для монастыря. Его мне купцы привезли тоже из Цареграда. Все сие послал с ними патриарх, который у покойной доченьки Аннушки духовником был. Пишет он, что в Цареграде ладану от арапов много сей год получено. Ты бы вот патриарху-то куниц да мех горностаѣ послал.

Февраля в девятый день, в среду, слушал великий князь с семейством заутреню и часы в крестовой. Служили протоиерей Александр, духовник Василия Васильевича, диакон Ферапонт и дьячок Пафнутий.

День стоял холодный и ясный, но солнце, словно янтарем, золотило слюдяные окна, и отсветы от них золотыми же решетками ложились на пол и на стены крестовой. Весело было на душе Ивана. С удовольствием слушал он могучий голос диакона Ферапонта и думал о поездке в монастырь. Весел был и великий князь и, встречаясь глазами с сыном, ласково ему всякий раз улыбался. После заутрени завтракали все в хоромах у старой государыни, и перед тем, как всем помолиться перед дорогой, Софья Витовтовна спросила великого князя:

– Много ль дружины с собой берешь?

– Нет, немного. Игумен и келарь мне верны. Посулил им угоды и вклады.

– Ну, вклады-то все берут без отказа, – прервала его с усмешкой Софья Витовтовна. – Не верь монахам-то, своекорыстны чернецы...

– Ведаю, государыня-матушка, – весело промолвил Василий Васильевич, – да не боюсь! Сама знаешь, не собой сильны мы, а Москвой.

– Право разумеешь, сыночек, а все ж помни: не один едешь, с сыновьями. Шемякину миру не верь. Стражи больше бери – береженого Бог бережет.

– Теперь никакого зла сотворить не посмеет Шемяка-то. Татар побоится: царевичи Касим да Якуб со своими нукерами дороги стерегут и от Галича и от Углича. Смирился князь Димитрий Юрьич. Крест мне целовал вместе с князем Можайским...

– Смирен волк, пока пастухи не ушли, – спокойнее уж ответила старая государыня и, вставая, добавила: – Ну а теперь помолимся перед дорогой-то и посидим.

Все встали и, земно кланяясь, помолились, а потом вслед за Софьей Витовтовной сели на скамьи в молчании. Первым поднялся Василий Васильевич и молча поклонился матери.

– Благослови тебя Господь, – проговорила она, крестя сына, и трижды поцеловала его. Порывисто обняла Василия Васильевича Марья Ярославна и, целуя его, с тоской прошептала: – Ох, не езд... Тошнехонько мне, свет мой. Болит душа моя...

Ивана и Юрия благословили мать и бабка.

Грустно стало Ивану, будто на ясный день черная тучка нашла, но ненадолго это было. Весело все сошли с красного крыльца к саням и кибиткам, разлеглись на сене и укрылись полстями войлочными. В самый последний срок, как саням трогаться, Софья Витовтовна, стоя около княжичей, подозвала к себе Васюка и вполголоса, но твердо ему молвила:

– Пуше очей своих береги княжичей. Перед всей Русью в ответе за них будешь. Поклянись мне правым сердцем и мыслью...

– Обещаю перед тобой, государыня, – снимая шапку и крестясь, сказал Васюк, – как перед истинным Богом!

Василий Васильевич дал знак, и поезд княжой, окруженный конной охраной, двинулся к Неглименским воротам. Переехав по льду речку Неглинную, повернули направо и погнали мимо Никольского монастыря прямо к селу Танинскому. Было то во втором часу дня, а уж в третьем часу гонец Ивана Старкова поскакал из посада через Заречье к Звенигороду, где ждут давно его нарочные гонцы Шемяки, чтобы в Рузу желанную весть передать.

Глава 9

У Живоначальныя Троицы

Только выехал княжой поезд из саней и кибиток на дорогу, что бежит по гладкому льду Яузы, как густыми хлопьями замелькал со всех сторон снег, чуть розоватый от угасавшей зари. Потом вдруг все потемнело, замельтешило и заметалось кругом. Никогда Иван такого снега не видел. Словно белые стены встали вокруг кибитки княжичей, а через них, как пух из распоротых подушек, так и сыплет снег, так и валит валом без перемены.

– На таких снегах далеко не уедем, – сказал белый, как мельник, Васюк, поровняв коня с санями княжичей. – Засветло уже в Танинское-то не поспеем. Хорошо, что стража впереди снег вытаптывает, а то и кибитки не сдвинешь, вишь погода...

Налетевший ветер унес куда-то в снега конец его речи, и Васюк, махнув рукой, словно растаял в белой стене.

– Ложись в кибитку! – крикнул Ивану Илейка, сидевший на облучке, ставший похожим на снежного деда.

Иван лег рядом с Юрием.

В кибитке было темно, ветра совсем не чувлось, только слышно было, как он взывает в полях, как ударяет с налета снегом в бока кибитки да как шуршат внизу под Иваном полозья, будто у самых ушей. В темноте в глазах, если их крепко зажать, мелькают красно-зеленые решеточки – словно соты шестигранные, они бегут то вправо, то влево, едва глаза успевают за ними. Ни о чем не думает Иван, следя за цветными решеточками, чувствуя, как тепло постепенно охватывает все его тело, а сам он опускается в мягкие зыбкие волны...

Вдруг он очнулся, вздрогнул от неожиданности – разбудил его плач Юрия, хватавшего его в страхе руками. Иван, впервые оставшись один с маленьким братом, растерялся и не знал, что сказать ему. Он обнял его одной рукой, а другой стал ласково гладить по лицу, мокрому от слез.

– Боюсь, Иванушка, – услышал он прерывающийся голос и сразу понял, что делать.

– А ты не бойся, – смеясь, говорит он малому братику, – возьми и не бойся. Яз не боюсь вот. А Васюк с Илейкой наруже, и то не боятся...

Юрий смолк, но, внимательно слушая, он все же спросил с беспокойством:

– А тата с нами едет?

– С нами. Когда яз выглядывал, сам его кибитку видел. Впереди нас едет.

Юрий радостно засмеялся и совсем неожиданно добавил:

– Есть хочу!

– Яз тоже, – живо откликнулся Иван, принимаясь шарить в сене вокруг себя и Юрия.

Подымаясь на колени, он запутался в своем долгополом тулупчике и упал, ударившись головой о какой-то сундучок.

– Нашел! – весело крикнул он, нащупав у себя под головой знакомый ему мелкосплетенный коробок для всякой дорожной снеди, и добавил со смехом: – Не руками, Юрьюшко, а головой нащупал!..

В темноте в этом коробке княжичи, как слепые, отыскивали ощупью изюм, колобки, копченую рыбу, шанежки, коврижки, если всё вместе и одно за другим безо всякого разбору.

– Ты что ешь? – спросил Иван Юрия.

– Изюм. А ты?

– Рыбу с коврижкой...

Братья дружно хохотали, когда Юрий ронял что-нибудь, и они при поисках, не видя друг друга, как козлята, стукались лбами.

– Да ты в руках-то не доржи, – смеясь, кричал Иван братишке, – а клади скорей в рот, оттуда не выпадет!..

Навеселившись и наевшись досыта, княжичи один за другим незаметно заснули. Раза два Илейка подымал войлочную полсть и окликал Ивана и Юрия, но ответа не добился. Проснувшись наполовину в кибитку, он оправил на мальчиках тулупы и прикрыл их сверху мягкой толстой кошмой.

– Ишь, разоспались, – бормотал он, усмехаясь в обмерзшую бороду, – и гром не разбудит.

Хорошо спится в дороге, а на холоде и того лучше, когда сквозь щели теплой кибитки пробегают свежие струйки морозного душистого воздуха!..

Из-за метели и снежных заносов приехали в Танинское поздней ночью, уж к третьим петухам. Полупроснувшихся княжичей Илейка и Васюк вытащили из кибитки и за руки повели куда-то по глубоким сугробам. Иван смутно помнил какую-то лестницу, темные сени, где пахло хлебом, но не знал, как очутился он вместе с Юрием в жаркой избе за широким столом, и вот ест он деревянною ложкой горячие шти с полбенной кашей.

Глаза же его постоянно смыкаются, и видит он среди мельканий ресниц, как в тумане, Юрия, положившего голову на стол рядом с блюдцем каши. Вот и его щека сама собой прижалась к дубовой доске, от которой пахнет луком и рыбой. Разопрев в тепле и духоте, не хочет он и шевельнуться, а шум и гул чьих-то разговоров слышны все глуше и глуше, и вот уж будто опять у самых ушей его шуршат полозья кибитки, а в глазах мелькают и расплываются зелено-красные решеточки, словно мелкие, мелкие соты...

На другой день после заутрени у великого князя были гости. Приехал на охоту в Танинское с гончими и борзыми любимец Василия Васильевича боярин Владимир Григорьевич Ховрин. Обед, вопреки обычаю, прошел быстро, наспех, – уговорил Владимир Григорьевич великого князя на охоту с ним ехать. Недалеко совсем, в березовом острове, ловчий его Терентьич стаю волков приметил третьеводни.

– Слушай меня, Василь Василич, – с пылом восклицал боярин Ховрин, – снег-то ныне вязкой, глыбокой! Терентьич же баит, молодых волков-то в стае много. Мы их на второй аль на третьей версте загоним! Добрые у меня кони и собаки – затравим не мало!

Василий Васильевич знал, что в Танинском у Ховрина свое подворье для наездов с охотой, а при подворье и все ухожи: изба для псарей, псарня, конюшня, погреба, медуша и поварня – хоть месяц живи, всего тут в изобилии. Вспомнил Василий Васильевич ховринских борзых и выжловков и не устоял, поехал в подворье и сыновей с собой взял. Юрий в кибитке с Илейкой поехал, а Иван с Васюком верхом поскакали.

На дворе у Ховрина все уж для охоты было готово. В ожидании хозяина стояли и проезжали псари с высокими поджарыми борзыми на сворах и с головастыми лопухими гончими на смычках. Шум стоял такой, что, разговаривая, кричать нужно. Ржут лошади, собаки грызутся, ворчат, лают, перекликаются охотники, ласково кличут собак по именам или ругают их, громко хлопая в воздухе арапниками, трубят рога...

Хозяин, не давая горячиться своему аргамаку и указывая Василию Васильевичу на пару короткошерстных черных борзых в своре у своего ловчего, рыжебородого Терентьича, кричит весело и радостно:

– Гляди, государь, оба эти хорта – угорские! Уж и хватливы же они!

Тобе подвести их велю, а других сам, каких изволишь, выбирай: хортов ли, из наших ли псовых, или угорских. Какая твоя воля. Терентьич подведет тебе каких прикажешь.

– Вот тех, псовых, возьму, серых с подпалинами,⁶⁹ – говорит Василий Васильевич, указывая арапником на свору другого псара с особенно длинномордыми собаками. – Примета у меня есть: не столь правило, сколь длинной шипец⁷⁰ важен...

⁶⁹ Подпалины – рыжие пятна у черных и серых собак на бровях, на щеках, на груди и на ногах.

– Бери, бери, господине, – зычно кричит Владимир Григорьевич, трясая светлой пушистой бородкой, – да не откажись и от других, от этих вот польских хортиц! Ух, горячи да хватливы! Лучше кобелей. Гляди, у которой щипец длинней, от ее борзят жду. Уж яз те лучшего щеня оставлю.

Князь заговорил с подъехавшими к нему стремянными, ловчим и доезжачим, совещаясь насчет порядка охоты.

– А какие сии вот большеголовые собаки? – спросил Иван у Васюка.

– Выжловки, княже, – ответил тот, – на смычке они, как и борзые на своре, парой ходят. Борзые хватают зверя, а выжловки гнать приучены по зверю и лаять. Сам доезжачий с выжлятниками обучает их. Видал я ховринских-то выжловков на следу – зело гонки! Никакого зверя не упустят, так по пятам и гонят, будь то медведь, лиса, волк али заяц. Да сам вот увидишь, покажу я – стремянным твоим буду.

Отъехав верст на пять от Танинского, охотничий поезд свернул на обширную снежную поляну, окаймленную лесами, тянущимися зубчатым гребнем по всему кругозору. Вблизи же, версты за полторы, виднелся небольшой отдельный лесок, остров из желтоствольных сосен с зелеными лапами хвои и белоствольных березок с голыми темно-коричневыми сучьями. Опушка его из густых кустов орешника, калины, бузины и боярышника казалась издали мягким меховым околышем огромной лесной шапки, брошенной на снег.

Охотники остановились, разбирая своры борзых и смычки выжловков, спутавшиеся в пути. Стремянные подвели своры к князьям. Подъехавший ловчий указал Василию Васильевичу и боярину Ховрину их места у опушки, по краям поляны, указал и княжичу Ивану, где стоять ему с Васюком, а также и всем своим борзовщикам. Доезжачий стал отдельно с выжлятниками.

Когда все разместились, Терентьич оглядел внимательно все поле и, оборотясь к доезжачему, приложил руку ко рту и громко закричал через поле:

– Закинь выжловков на остров-то!

По знаку доезжачего выжлятники подтянули смычки гончих и поскакали, огибая остров с двух сторон. Они должны были, оцепив лесок, начать гон с другой его стороны, гнать зверя на чистое поле.

Княжич Иван остался один с Васюком и, шурясь, смотрел на синее, еще по-зимнему сияющее небо и на сверкающий от солнца крупнозернистый снег. Он ни о чем не думал и только жадно прислушивался в звонкой тишине полей к далеким, чуть слышным выкрикам, доносившимся с острова. Так же напряженно прислушивался и Васюк.

– Со смычков спускают, – сказал он Ивану, и как раз в это время далекий звонкий лай зазвенел с острова.

С каждой минутой лай становится громче и громче. Вот уже слышны отдельные голоса, нетерпеливое повизгиванье и подвыванье наиболее горячих псов. Вот вовсю заливаются справа, вот еще сильнее твякают, лают и визжат слева.

– Гонят! – с прерывистым вздохом не сказал, а выдохнул Васюк.

Иван почувствовал, как сердце задрожало у него под самым горлом, а губы сразу пересохли. Собачий лай приближается, крепнет, сливается в спутанный хор, и, как взмахи хлыста, прорезает его иногда тонкий сверлящий визг. Вот слышно уж и псарей.

– Ату! Атата! – раздаются их вопли и выкрики. – Ату! Атата!

Борзые нетерпеливо завозились на сворах, скуля и порываясь вперед, но Иван и Васюк не обращают на них внимания. Словно застыв, сидят они на конях, всем телом подавшись вперед и жадно впиваясь в опушку острова. Вот справа, за четверть версты от них, стрелой из острова вылетел зверь и, взметывая снег, помчался по полю. За ним другой, третий, потом

⁷⁰ Щипец – морда, правило – хвост борзой.

сразу три и еще четыре волка! Тотчас же из всего полукруга опушки вырвались из кустов высокие поджарые борзые, а следом за ними поскакали на конях охотники.

– Спускать свору? – крикнул Иван, дрожащими пальцами перебирая сыромятный ремень, но Васюк только отмахнулся от него рукой.

Охотники вместе с собаками врезались в стаю волков, и стая сразу распалась. То парой, то в одиночку волки помчались в разные стороны. Каждый охотник отдельно погнался со своими борзыми за одним, только им облюбованным, волком.

Иван начинал понимать, что и как происходит перед его глазами. Вот и выжловки выскочили из острова, но псари ловко и быстро привычным приемом снова берут их на смычки.

– Что ж мне-то деять? – шепчет Иван в недоуменье и оглядывается на Васюка.

Тот резким движением арапника указывает на поле. Иван взглядывает вперед и видит: два серых волка бегут вперевалку прямо на него. Внезапно его охватил страх. Много сказок и рассказов с детства слышал он о волках, и вот эти широколобые, страшные, зубастые звери мчатся на него...

– Свору спускай! – слышит он крик Васюка, но по спине у него бегут мурашки, а руки плохо слушаются.

Вот уже четыре борзых, спущенные Васюком, несутся наперерез волкам.

– Спускай, не зевай! – кричит Васюк, и Иван, наконец овладев собой, быстро спускает свою свору.

Его пара муругих⁷¹ псов опередила борзых Васюка. Волки остановились на мгновение и, поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону, оглядели поле. Один из них, что крупней и серей, неожиданно бросился назад к острову, подмяв борзую. Другой рванулся за ним, но муругие Ивана оттеснили его назад. Матерый же крупными скачками подбежал к самой опушке и скрылся в кустах.

– Будем загонять молодого! – крикнул Васюк. – Скачи за ним, Иванушка!

Они поскакали оба за волком. Тот все чаще и чаще при быстром беге тяжело проваливался в снег, выпрыгивал из образовавшейся ямы, но так же быстро бежал дальше, хотя и увязал выше брюха. Поджарые длинноногие борзые вязли меньше волка и, нагнав его, бежали за ним сзади и по сторонам. Время от времени волк поворачивался на бегу к собакам и щелкал зубами. Собаки отскакивали. Волк, выигрывая время, несколько уходил вперед, но, уж заметно уставая, замедлял бег. Иван и Васюк легко нагнали на конях и волка и борзых. Иван видел зверя совсем близко. Вдруг Васюк, ударяя коня в бока острыми шпорами и яростно взмахивая нагайкой с куском свинца на конце, погнался за волком и закричал во весь голос Ивану:

– Сей часец нос ему перебью! С единого удара насмерть!..

Мимо собак Васюк поскакал прямо на зверя, но волк будто понял угрозу и, напрягая все силы, быстрее замелькал ногами, затиснув хвост меж задних ног и прижав со страха уши, словно ожидая удара. Делая отчаянные скачки, он, прыжок за прыжком, снова опередил собак и пробежал далеко от Васюка.

– Улю-лю! Атата! – закричал тот неистово и снова погнал коня.

Волк же, то выпрыгивая, то зарываясь в снег, скакал все дальше и дальше. Так же, словно ныряя в снегу, гнались за ним борзые, но заметно отставали.

– Уйдет! – громко вскрикнул Иван и, не жалея плети, погнал коня.

Опять волк и собаки стали приближаться к нему, будто снежное поле вместе с ними само передвигалось назад. Иван опять близко видел ошетилившегося зверя с неповорачивающейся шеей и прижатыми ушами. Догнав Васюка, Иван хотел что-то крикнуть ему, но сразу забыл все.

Внезапно повернувшись всем телом к наседавшему на него кобелю, волк рванул его зубами. Собака взвизгнула и кубарем завертелась на месте, густо кровеня снег, но борзая

⁷¹ Муругий – рыжевато-желтый или темно-серый мех в темных или черных волнистых полосах и пятнах.

из своры Ивана прынула на зверя с другой стороны и вцепилась в загривок. Как пиявки, сразу впились в волка остальные собаки и растянули зверя. Васюк пал на него камнем с коня и схватил его левой рукой за дрожащие уши, а в правой блеснул у него нож. Зверь захрипел и упал набок. Кровь захлестала у него из горла, язык вывалился, но большой, еще живой глаз, постепенно угасая, дико глядел, казалось, прямо на подъехавшего Ивана. Княжич был возбужден и радостен, но взгляд умиравшего зверя отяжелил его сердце. Стало жаль молодого красивого волка с густой сероватой шерстью.

– Добрая полсть из такой шкуры выйдет! – весело крикнул Васюк, обтирая окровавленный нож об шерсть волка.

После охоты выехали в Братошино почти затемно, а в ночь стало тепло и опять пошел снег. Боярин Ховрин с небольшим отрядом из псарей своих поехал провожать Василия Васильевича.

За поздним ужином в Братошине Владимир Григорьевич сидел рядом с великим князем. Они пили водку и мед. Василий Васильевич шутил и смеялся над советами своего любимца.

– Зря ты страшишься, словно конь темного куста, – говорил он громко, – по вотчине ведь своей еду, не в чужой земле!

Но боярин Ховрин морщил лоб, крепко сдвигая брови.

– Смотри, государь, – промолвил он озабоченно, – в такое время можно ли оплошным быть? Воля твоя, а яз буду со своим отрядом в деревеньке Горелой, что у реки Вори, к Радонежу поближе. Ты же от своей стражи хоть малое число воев оставь на дороге, не доезжая монастыря, а коль будет случай какой злой, ты загодя и борзо о том узнаешь.

Василий Васильевич согласился в угоду любимцу своему и добавил:

– Ныне никакой пакости мне не сотворят ни Шемяка, ни можайский. Стали сии звери ручными. Токмо для-ради покоя твоего содею по твоему совету: поставлю своих воев на Паже-реке.

Иван, глядя на смеющиеся, веселые глаза отца, тоже улыбался. Он считал его правым, и страхи Ховрина казались ему такими же детскими, как страх Юрия в темной кибитке. Теперь Иван гордился отцом и верил в его силу, вспоминая, как раненый Ростопча рассказывал бабке об удалом бое великого князя с татарами Улу-Махмета. Все же конца разговора он не дослушал – разморил его сон, и еле-еле дошел он до скамьи, где ему постель постелили.

На другой день, в первом часу после обеда, поезд князя выехал из Братошина к небольшому граду удельному, к Радонежу, срубленному на высоком мысу у слияния рек Вори и Пажи, в двух верстах от села Воздвиженского, что стоит на самой дороге из Москвы, в четырнадцати верстах от Сергиевой обители.

Здесь Владимир Григорьевич Ховрин свернул с большой дороги влево, поехав со своей стражей по льду вдоль Вори к Радонежу, а Василий Васильевич оставил малое число воинов справа от Радонежа, у села Воздвиженского, на крутом берегу Пажи, и двинулся со всем своим поездом к монастырю в четвертом часу дня. А день был вёдрен и ветрен, с оттепелью. К заходу же солнца, когда поезд на рысях подъехал к Клементьевой горе, стали набегать тучки.

У оврага, промытого речкой Кончурой, великий князь приказал остановиться и вместе с Иваном пошел пешком к Никольским воротам, у северной стены монастыря. Княжич впервые увидел прославленный монастырь, такой простой и суровый. Весь деревянный, с деревянными стенами и башнями, он словно врос в голое темя лесного холма. Только один белокаменный собор Святыя Живоначальныя Троицы с золочеными маковками и крестом величественно возвышается среди обступивших его тесным четырехугольником маленьких деревянных келий братии. Крупнее этих избушек только храма братской трапезной, построенной на юг от собора; позади келий, у восточной стены, келарские палаты для угощения и ночлега почетных гостей и высокая деревянная звонница с тремя колоколами, недалеко от собора, к западу от него. Но всего не мог хорошо разглядеть Иван. Когда он спускался с горы, идя вслед

за отцом, стены монастыря как будто росли, поднимаясь все выше и выше, а все постройки словно проваливались между ними.

В Никольских воротах великого князя при звоне колоколов встретил с крестом и святой водой сам игумен со священниками и диаконами, все в шитых золотом ризах. Великий князь умилился от радости и воскликнул, обращаясь ко всей братии монастырской:

– Удостоил мя Господь снова святыни сии видети! Молитвами святых отец и всех христиан спас мя Христос от мучений и смерти, извел из полона!..

После краткой молитвы Василий Васильевич, благословясь у игумна и поцеловав крест, вступил с сыновьями во двор прославленной обители. Поднявшись от Никольских ворот к собору, вошли все в храм через главные западные врата.

Княжич Иван с изумлением остановился посередине церкви, дивясь обилию в ней света, казалось, втекающего широкими волнами через легкий купол и окна в стенах. В этом свете сияли, играли и переливались всеми цветами на стенах яркие краски росписи, словно освещенные горячими лучами солнца. Даже внизу у стен и в углах, где все уже тускло, наступающая тьма не могла еще загасить радостных красок.

Никогда и нигде Иван не видал такой росписи и красок на стенах, на иконах алтаря и в глубине купола. Даже икона, виденная им без оклада в Переяславле у кузнеца Полтинки, не могла по краскам равняться по красоте этой церковной росписи. Засмотрелся Иван, забыл все и не слышал, что отец зовет его. Очнулся, когда Васюк взял его за руку и зашептал:

– Пошто нейдешь-то? Государь тя кличет ко гробу преподобного. Иди уторопь, а то осерчает государь-то! Гневлив он...

Княжич поспешил к правому приделу, где у южной стены, между клиросом и входными дверями, возвышается деревянная сень над гробом Сергия Радонежского. Здесь на дубовом гробе, покрытом парчой, стоят в головах святого его келейные иконы, – а сбоку висит на стене образ самого Сергия, шитый во весь рост на шелковой пелене. Пелена эта дивно изготовлена монастырскими вышивальщиками по иконе инок Рублева, лик же Сергия на ней самим знаменитым иконописцем шит. От лика преподобного почему-то стало страшно Ивану. Особенно пугали глаза. Ясные и не строгие, они как-то холодила грудь и сердце княжичу. Казалось, Сергий глядит прямо в душу всякому, кто взглянет на него...

Заметив подошедшего сына, Василий Васильевич ласково улыбнулся ему.

– Велика святыня сия, – сказал он Ивану, – и яз упования свои на сию святую стражу возлагаю более, чем на дружины свои. Знай, Иванушка, мы здесь крест целовали с братьями моими, князьями Шемякой и Можайским, идучи на царя Улу-Махмета. Боясь проклятий, не дерзнут они, при всем зле своем, на измену пойти и клятвы свои порушить... – Он замолчал от волнения, пал на колени и, обратясь к Ивану, сказал: – Помолимся же, сыне, преподобному Сергию у его гроба, да ниспошлет он нам силы и оградит нас от бед...

На другой день, тринадцатого февраля, княжичей не будили к утренним часам – они встали позже, только к самой литургии.

Войдя в собор с Васюком, княжичи прошли мимо иноков к правому клиросу, где недалеко от гроба преподобного Сергия стоял великий князь. Иван и Юрий встали рядом с отцом. День был погожий, и солнце сквозь голубую дымку ладана, клубившегося от кадил, пронизывало храм со всех сторон широкими полосами света. Радостно играли краски стенной росписи и горели яркими цветами на иконах иконостаса, блестело золото и сверкали камни самоцветные на окладах и крестах. Вспыхивали неожиданно ризы священников и диаконов, когда входили они в полосу света.

Радость и покой охватили душу Ивана, и, слушая духовное пение, поглядывал он на отца, молившегося рядом с ним с умилением и кротостью. Пропели херувимскую, и тихо стало совсем, слышно лишь невнятно молитвы из алтаря да звяканье цепей о крышку кадила у диа-

кона, кадившего перед образами. Загрезилось Ивану, как в сказке, и вдруг шум, говор в дверях, суета и волнение нарушили благочиние и благолепие церковного служения.

Оглянувшись назад, княжич увидел в дверях Семена Архипыча Бунко, что недавно отъехал от них к Шемяке. Переводя с недоумением глаза на отца, заметил Иван, как потемнел и нахмурился он, а ноздри его широко раздулись. Бунко же шел быстро, торопясь скорей подойти к великому князю.

Сразу все замерло в храме, тревога охватила всех, а некоторые из бояр великого князя, что вместе с ним приехали, сменились с лица. Бунко тоже был бледен, и губы его дрожали.

– Великий государь, – заговорил Бунко, голос у него срывался, – великий государь, прости слугу своего... Токмо для-ради тебя и чад твоих, для-ради Москвы нашей...

– Ну? – резко перебил его Василий Васильевич. – Что тебе надобно, раб лукавый?

– Прости, государь, – продолжал Бунко. – Вести худые и грозные принес, прости за то...

– Какие вести?

– Идет на тебя князь Димитрий Шемяка да князь можайский ратию, идет со воем злом на тебя! Изгоном из Рузы на Москву идут.

Бунко смолк, опустив голову, а Василий Васильевич зло рассмеялся и, обратясь ко всем своим людям и к духовным отцам, громко воскликнул:

– Сии слуги неверные, они смущают нас, а яз со своей братией в крестном целовании! Не может так быти, лжа то на братьев моих!

И, гневом распалясь, приказал великий князь выгнать изменника своего из монастыря вон. Бунко же, устрасая гнева его, выбежал из храма к коню своему, а люди из княжой стражи погнались за ним.

Все это испугало Ивана. Вспомнил он предупреждения бабки, и казалось ему, что отец не так сделал, как нужно, а что нужно, Иван и сам не знал.

– Не гневись на меня, государь, – сказал в это время один боярин, – может, Бунко и зря баил, воровства ради, а может, и правду. Пошлю-ка яз к Радонежу еще воев десятков на всяк случай...

Иван обрадовался такому совету, но с тревогой смотрел на отца, ожидая, что скажет он. Василий Васильевич больше уж не гневался, а сразу стих, как всегда, и успокоился. Обратясь с улыбкой к боярину, сказал он весело:

– Посылай, Семен Иваныч! Ты, вижу, как и боярин Ховрин, страшлив вельми...

Среди густых лесов, зимой совсем непроезжих, выются дороги только по речным руслам да по недлинным просекам между замерзших рек, там, где летом волоки были или гати настланы. Растянувшись в ниточку, скачет десяток воинов к Радонежу, где меж этим градцем и селом Воздвиженским, на самом угоре крутого берега Пажи, оставлен был Василием Васильевичем дозор.

За час проскакали конники из Сергиевой обители все четырнадцать верст до реки Пажи. Еще издали видят дымок от костра, и коновязи с конями, и воинов у самого костра.

– Ну и дозор! Чтоб им пропасть! – кричит передовой Митрич. – Как на ладони сидят!

– И костер еще развели! Чай, пшено варят, – смеясь отозвался ближний конник. – А вон, гляди! Заметались, нас приметили...

– Ну и бараны! – крикнул опять Митрич. – Всполошились, а разуму нет, что мы с монастыря, а не из Москвы гоним. Вон Андреяныч шапкой машет, узнал...

Конники съехали с дороги, и сразу снег стал коням по брюхо. Шагом пошли, будто вброд по воде.

– Здорово, Андреяныч! – крикнул Митрич весело. – Не утонем мы тут?

– Не бойсь, – ответил, смеясь, Андреяныч, – глыбже девяти пядей⁷² нигде нет!

⁷² Пядь – старинная мера длины.

– У нас один Гришуха утонул было, – крикнул рослый парень, – зашел вброд по самый рот! Ладно не вода, а то захлебнулся бы!..

Все захохотали, хорошо зная, что ростом Гришуха в обрез восемь пядей.

– Что? Сменять нас приехали? – спросил Андреяныч. – Иззябли мы тут, студено в сырости да на ветру...

– Где сменять! – злобно буркнул Митрич. – Шемяка, бают, окаянный, сюды идет, а может, и врут, на ветер лают. Пока же грейся вот, православные! Князь водки с нами прислал – у каждого по две сулеи. Нас десять, и вас десять – всем по одной...

– Го-го! – радостно зашумели кругом. – Да будет здрав государь наш!

– Садись к огню, у нас каша поспела!

– Попьем-поедим во славу государеву!..

– Пить-то пей, – сурово заметил Митрич, – а на дорогу гляди!

– Что глядеть-то! – усмехнулся Андреяныч. – Вон она вся на виду, отсюда ее до самого бора видать.

– А вас и еще лучше видать, за целую версту мы вас узрили... Эй, гляди, едут из бора-то...

На дороге показались многие сани-ропуски с кладью, закрытой рогожами, а на иных полстями из войлока. Позади же каждого воза один человек идет.

– То сироты монастырские, – засмеялся Андреяныч, – поди, рыбу под рогожами в обитель на возах везут, а мы и водку пьем, да страшимся...

– Бери ложки-то, – крикнул веселый рослый парень, – не каждый день пшено с водкой едим! Выпьем по полной, век наш недолгой!.. – Он выпил и, крикнув, добавил со вкусом: – Нет питья лучше воды, коли перегонишь ее на хлебе!..

– Что и баить, – отозвался Митрич, – слеза хлебная...

– А обоз-то все идет, – удивлялся Андрияныч, – сколь добра чернецам везут!

Возов двадцать выехало из бора и, растянувшись по дороге, поднимаются в гору уже позади дозора. Вдруг всполошился малорослый Гришуха.

– Смотри, смотри, Андреяныч, – закричал он, – из леса воины скачут!..

Схватились все с мест, к коновязям бросились, чтобы на коней пасть, а позади них, видят, весь обоз остановился. Взмetyваются на возах рогожи и полсти, а из-под них воины в доспехах с каждых саней по двое вылазят, да и те, что по одному за возами шли, тоже в доспехах. Окружили мигом отряд Митрича со всех сторон, а тут и конники пригнали, к самому костру подъехали.

– Вяжи их, – кричит боярин Шемякин, Никита Константинович, – бери у них коней, имай снаряжение!

Переглянулся Митрич с Андреянычем и рукой безнадежно махнул, указав на дорогу, где еще человек сто конников неслись вскачь.

– Гляди, не зевай! – грозит своим воинам боярин. – Все в ответе! Правых не будет! Не упущай ни единого, чтоб никто упредить Василья не мог!

Отзвонили церковные звоны, и великий князь с сыновьями своими, придя в келарские хоромы, сел за трапезу. Весело за столом, «седмица сплошная», всеядная, и на столе стоят всякие снеди в изобилии, и пиво, и меды монастырские стоялые. Пар идет от больших мис с жирной ухой, а на блюдах кругом хлеб монастырский пшеничный, рыба провесная, икра паусная, огурцы соленые, яблоки моченые, оладьи с медом, кисели сыченые, и морошка, и клюква, и брусника, с медом варенная.

В слюдяных же окнах горит блесками ясное солнышко, рассыпается искрами на золотых и серебряных чашах и блюдах, светит прямо в глаза Ивану, смотреть мешает. Хмурится княжич, на отца поглядывая, а тот смеется, шутит с монахами, пьет чарку за чаркой с прибаутками.

– Кушай, господине, – ласково говорит келарь, – не обессудь: по простоте мы живем, без хитрости! Чем богати, тем и ради...

– Яз тебе по душе сказываю, – отвечает Василий Васильевич, – все добро у вас – уха сладка, варяя гладка, будто ягодка. Благослови, отче, водки стопку единую... Говорят люди книжные: «Аз есмь хмель, высокая голова, боле всех плодов земных!»

– Княже, княже! – закричал Васюк, вбегая в трапезную. – Пригнал Илейка с Клементьевой горы, баит, шемайкины вои изгоном пригнали...

Побелел Василий Васильевич как снег, вскочил из-за стола и к окну. Видит, от села Клементьевского воины в доспехах скачут. Помутилось в глазах его, и, тряхнув головой, вскричал он:

– Измена! Пошто не послушал яз Бунко! – Подбежал потом к Васюку и сказал ему на ухо: – Живота не щади, а сыновей моих упаси! О собе же яз сам, как Бог даст, промыслю...

Выскочил он в сени, бегом на конюшенный двор спешит коня взять, к князьям Ряполовским скакать или к Ховрину, к реке Вори. Застыл будто весь сразу Иван, встал и стоит недвижно. Кажется ему, сон видит он страшный, а кругом все разбежались и попрятались, кто куда.

Вдруг Юрий заплакал таково жалобно, что оторвалось сердце Ивана, обернулся он к братику малому, обнял его крепко. Утер слезы Васюк и, схватив за руки обоих княжичей, побежал с ними вниз по лестнице, а в нижних сенях в боковую дверь втащил, в келию пивного старца,⁷³ отца Мисаила. Тут и старик Илейка был. Не узнал его сразу Иван – в рясу старик одет и ворох ряс на полу разбирает.

– Одевай детей-то, – сурово сказал отец Мисаил. – Длинные будут, можно подол-то обрезать... – Взглянув на Ивана, он добавил: – Ишь ты, Господь взрастил: тебе и с мужика впору будет.

Васюк одел Ивана монахом и сам нарядился в рясу. Юрию не нашлось ничего подходящего – мал был, шапку чернецкую только надели.

– Князь-то – у гроба Сергия, – вздохнув, молвил пивной старец, – пономарь Никифор замкнул его во храме на ключ. Не был князю конь готов, ибо сам великий князь упреждение Бунково лжой охулил...

Васюк досадливо дернул головой и сказал сердито:

– Поверил государь врагам своим во лжи, а правды узнать не восхотел из-за гнева своего...

– Что ж, – вмешался Илейка, – надоть к Пивной башне идти, а то прискачут злодеи, весь двор займут. Сюды тоже нагрянут.

– И то, – засуетился отец Мисаил, – идем сей же часец. В ночи пришет нам туда конюшенный старец двое саней об один конь, аз же снеди дорожной вам соберу.

Вышли все из келарских хором черным крыльцом прямо к собору Святой Троицы. Илейка, держа на руках Юрия, шел рядом с отцом Мисаилом впереди, а следом за ними Васюк с Иваном. Вдруг отец Мисаил сделал знак остановиться и прижался за углом к стене храма, маня всех к себе. Прижался к стене и княжич Иван, глядя вниз к Никольским воротам, куда молча показал всем пивной старец.

Снизу, взметывая снег, мчались во весь дух шемайкины конники, а впереди них Никита Константинович с криком скачет, словно сбесил его кто. Подскакал он вплотную к собору да у передних дверей, где конь его запнулся, пал прямо с размаху на камни, что при входе в помост вделаны. Бросились конники на помощь боярину, подняли с земли, а он лицом бледен, едва дышит, шатается, будто пьяный...

⁷³ Пивной старец – помощник келаря, ведает всем, что относится к варению пива.

– Наказует Господь за измену, – прошептал отец Мисаил и, перекрестившись, добавил: – Иисусе Христе, Сыне Божий, заступи и спаси государя нашего...

Конский топот и крики внизу заглушили молитву старца – сам князь Иван Андреевич со всем своим воинством в монастырь прибыл. Завидя боярина Добрынского, закричал он ему еще издали во весь голос:

– Где великий князь?

Но Никита Константинович еще не пришел в себя, и трудно ему было отвечать.

– Где великий князь? – уже сердясь, воскликнул Иван Андреевич снова, подъезжая к боярину. – Тобя, Никита Костянтиныч, спрашиваю; где князь?

Вдруг Иван услышал такой знакомый и словно чужой голос, вопивший из храма:

– Брате, помилуй мя!..

Страшен голос от нестерпимой тоски и отчаянья, и сразу задрожали руки у Ивана, и словно разорвалось в груди от тоски и боли.

– Тата! Та... – не помня себя, вскрикнул он, но крик сразу пресекся под широкой ладонью Васюка, зажавшего княжичу рот.

А из храма все еще слышался громкий истошный вопль.

– Братие! – выкликал Василий Васильевич не своим голосом. – Не лишите мя зрети образа Божия, и Пречистыя Матери Его, и всех святых! Яз не изыду из обители сей и власы главы своея урежу здесь!..

Иван медленно отвел руку Васюка и, не слушая больше и ничего не видя кругом, покорно пошел за ним. Немного в стороне от них, держа Юрия на руках, шел Илейка возле отца Мисаила.

Медленно, словно в бездну, спускались они к Пивной башне, что стоит у самых Никольских ворот. Понял Иван все, что происходит, и враз заledenел весь. Услышав голос великого князя, усмехнулся князь Иван Андреевич, слез с коня и подошел к дверям храма. И тихо кругом стало, ждут все, что будет. Вот загремели железные двери южных врат – отворил их сам великий князь и стал на пороге. В руках у него икона, что лежит всегда на гробе Сергия.

Бледен Василий Васильевич, но глаза его огнем жгут, и вдруг тихо так сказал он Ивану Андреевичу, а будто копьем пронзил каждого:

– Братья, целовали мы сей животворящий крест и сию икону здесь, в церкви Живоначальныя Троицы, у сего гроба Сергия: не мыслити нам зла друг другу, не хотети ни которому из братьев лиха... – Он вздохнул глубоко и с силой особой спросил: – Ныне ж не ведаю, что будет со мной...

Смутился князь можайский и, пряча глаза свои от великого князя, завилял лисьим хвостом, заговорил ласково:

– Господине! Государь наш! Ежели захотим тебе лиха какого, то будет лихо и над нами! Но творим мы сие христианства ради и твоего окупа. Увидят сие татары, с тобою пришедшие, и облегчат нам окуп, который ты отдать обещал.

Враз умысел весь – и Шемяки и можайского князя – ясен стал Василию Васильевичу. Ничего не сказал он, молча вошел в церковь, положил икону на место и пал ниц пред гробом чудотворца.

– Нет мне, кроме тебя, Господи, ниоткуда помочи! – прошептал он и сильно зарыдал.

Трясаясь и всхлипывая, стал он громко читать молитвы, и так это было тяжело и жалостно видеть, что все, даже князь можайский и Никита Константинович, прослезились. Когда же великий князь затихать стал, Иван Андреевич отер слезы и, выходя из церкви, сказал боярину Никите вполголоса:

– Возьми его!

Смолк в это время совсем Василий Васильевич и встал с каменных плит, будто и не житель мира сего, чужой всему, что кругом него есть. Обвел он окрест пустыми глазами и тихо и горестно воскликнул:

– Где же брат мой, князь Иван?

Вместо ответа подскочил к нему боярин Никита Константинович и, грубо схватив за плечо, молвил с торжеством и со злобой:

– Поиман еси великим князем московским Димитрием Юрьичем!

– Воля Божия да будет, – глухо сказал Василий Васильевич и перекрестился.

Как вошел княжич Иван в жилой покой Пивной башни, так и приник к окну, выходявшему к собору Святыя Троицы. Слюда в окне была закоптелая и поцарапанная – мутно через нее видать, и княжич, приподняв немного нижнюю половину, стал смотреть в щелочку.

У собора стояли конники и пешие воины, оцепив храм со всех сторон. Из южных врат вышел князь Иван Андреевич и пошел к хоромам келаря. «Хорошо, что ушли мы оттуда, – подумал Иван, – а то бы...» Мысли его оборвались сразу, и сердце упало, оторвалось словно. Видит он, как воины кучей вышли из южных же врат, а среди них его отец в одном теплом кафтане, без шапки. Низко склонил голову Василий Васильевич, словно хочет скрыть лицо. Вот и боярин Никита Константинович вышел веселый, кричит воинам своим:

– Щупай карманы боярские! Да и рухлядь бери – все за окуп пойдет! Их в полон брать не будем. Пусть в одних портах тут за грехи свои Богу помолятся!..

С криком и хохотом рассыпались воины Шемякины по двору монастырскому. Окружившая Василия Васильевича стража шемякина ведет его прямо к Пивной башне, к голым саням, в которых чернец сидит вместо возницы. Жадно, неотрывно глядит на отца Иван.

– Тата, матунька... – шепчет он и добавляет: – Помоги нам, господи, сотвори, Господи, чудо! Разрази громом Шемяку и всех слуг его, Господи...

Подвели Василия Васильевича к саням, и, когда сажился он, чернец накинул ему на плечи нагольный грязный тулуп и надел на голову овчинную шапку, какую сироты носят. Василий Васильевич даже не поправил шапки, надетой криво, и сел в сани, как мешок опустившись в них. Ничего будто не видит и не слышит он, а вдруг вот забеспокоился, поднял голову, словно взгляд сына почуял. Посмотрел он на Пивную башню, и увидел Иван глаза отца. Широко и горестно открыты они, тусклым взглядом осматривают окна башни, словно ищут; вот глядят прямо на Ивана, но ничего не видят и погасают совсем, как погас там, на охоте в Танинском, волчий глаз...

Уронил княжич голову на подоконник и горько заплакал. Вдруг дрогнул весь: кто-то за плечо его легонько взял.

– Не бойсь, – услышал он голос Илейки, – я с Васюком тутось. Не бойсь, сохранит Господь государя-то, не выдаст злодеям...

– В Москву повезут, – добавил с печалью пивной старец Мисаил, – заточат, но руки поднять на государя законного не посмеют. Верь, отроче, перед церковью святой не посмеют изменники, ибо все отцы духовные за князя московского грозно голос возвысят!..

Глава 10

Бегство

После ужина княжичам прямо на полу постелили овсяной соломы, накрыв ее сверху толстой кошмой, чтобы не сбивалась. В середине легли Иван с Юрием, а по краям – Васюк, Илейка да пономарь Никифор, что Василия Васильевича тайно в соборе замкнул, спасая его от изменников. Отец Мисаил оставил Никифора в Пивной башне при детях на послуги разные.

Спать повалились, не раздеваясь. Выезжать надо затемно, пока еще монастырь спит, да и начеку следует быть. Кто знает, вороги могут вернуться в обитель, если вздумают искать княжичей. О просыпе же и речи быть не может – Илейка, старый звонарь, привык часы чутьем угадывать.

Юрий как лег, так и засопел носом, но Иван не мог заснуть. В завываньях ветра ему голос отца раза два померещился, будто он там, за слюдяным окном, жалобно так прокричал среди шума метели. Защипало в глазах у Ивана, и страшно стало, хоть кричи, но княжич сжался и, отогнав все думы, словно окаменел весь. Крепко зажмурил глаза и не двигаясь, лежал он под тулупом, и оттого, что вдруг он перестал думать, перед глазами его пошли видения. Путались видения, мешались одно с другим, но ясней всего пожар московский увиделся – огонь кругом полыхает, шум, крик, суета. Вдруг все это исчезло, и опять Иван мысли собирает и ясно уж слышит близко около себя тихие голоса и шепот.

– Они у Москвы, как у берлоги медвежьей, стояли, – говорит Илейка вполголоса, – ждали, когда хозяин уйдет...

– Нечего им и стоять у Москвы было, – перебил его Васюк, – когда в самой Москве воры государевы прячутся. Помнишь юрода, в цепях-то? Эвот вон когда ходил еще! Старая государыня тогда вызнала, подослан был юрод из Чудова.

– У нас в обители, – прерывающимся шепотом заговорил пономарь, – некии от иноков да и от старцев есть, они воздаяния от Шемяки ждут...

– Что ж они о княжичах не доказали?

– Господь оградил, – с убеждением сказал Никифор, – заступился за их преподобный Сергей по молитвам великого князя.

Опять видения пошли перед глазами Ивана, только понять их он совсем уж не может – закружились, заметались, как снег в метель, и все сразу исчезло.

Проснулся Иван, когда совсем еще темно было. Свет в слюдяные окна Пивной башни словно не смеет еще войти, стоит серой мутью у самой слюды, а на ней только и видно что переплеты оконных рам. Все уж в Пивной башне, кроме Юрия, встали. Иван вылез из-под теплого тулупа, и его сразу охватил холод, зубы застучали, и дрожь по всему телу забегала.

В темноте полной стали спускаться все по лестнице во двор монастыря. Шли молча, словно подкрадывались. Юрия несли на руках, а Ивана кто-то вел в темноте, слегка подталкивая то вправо, то влево. Вот тихо скрипнула и стала отходить от косяка наружная дверь. Ветром и холодом пахнуло в лицо Ивану, и в белесой тьме он разглядел на снегу неясные пятна саней и лошадей. Видно было, что это поезд подвод в десять.

Спросонья еще больше зяб теперь Иван, позевывал и сильнее стучал зубами. Илейка положил в сани спящего Юрия, запахнул полы надетого на него тулупчика и, зарыв в сено, укутал кошмой. Это уж ясно видел Иван – с каждым мигом становилось светлей, и всё кругом: и стены, и башни, и подводы, и кони, и люди – будто выходило наружу, выплывая из рассветных сумерек. Васюк шепнул Ивану на ухо:

– А мы с тобой в сии вот сани. – Он указал на розвальни с сеном: – Запахни тулуп-то и ложись в сено. Я тя полстью укутаю. Вишь, народу сколь набралось? Наши все: из слуг, из стражи, и бояре есть. Удалось им тоже схорониться от злодеев.

Когда Иван был окутан со всех сторон, Васюк сел на облучок и, сняв шапку, перекрестился.

– Ну, теперь с Богом! – сказал он и, нагнувшись к Ивану, добавил шепотом: – В Боярово ко князьям Ряполовским поедем.

Передние подводы тронулись, а за ними и их сани, и опять Иван услышал, как знакомо скрипит и шуршит снег под полозьями, будто у самых его ушей.

День и ночь шел поезд – шагом по просекам, на рысях по речным руслам. Как во сне, княжичи проезжали глухие леса, где огромные, прямые, как стрелы, высились сосны, березы и ели. Густыми стенами стояли деревья по берегам рек, еще отягченные снегом, словно вспухшие белыми наростами. По насту, запущенному сверху недавними метелями, пересекаясь и путаясь, тянулись во все стороны звериные следы – и волчьи, и заячьи, и лисьи, и куньи, и соболиные – и широкие выбоины от лосиных копыт, а в одном месте видели княжичи круглые отпечатки рысых лап.

– Тут она с дерева прыгала, – объяснил Васюк, – на зайца, на птицу ли какую, да промахнулась. Вишь, ни мятева на снегу нет, ни пера, ни шерсти, ни крови...

Днем Юрий переходил в сани к Ивану, и княжичи были до вечера вместе.

Третий день уж так ехали, а погода была вёдреная, тихая, совсем без ветра. Солнце пригревало даже в лесу, и с тихим ропотом падали повсюду с ветвей капельки, а снег стал совсем зернистым и блестел на солнце, играя радками, как радуга. Проехал поезд по реке Шерне, выехал потом волоком на реку Киржач, где монастырь основан преподобным Сергием, а там по льду вверх по Киржачу, до истоков его. Отсюда круто на восток повернули, по мелкоколесью погнали ко граду Юрьеву Полскому.

Когда из лесов выезжать стали, подошел к княжичам боярин Семен Иванович, что послал воинов из обители на помощь страже великого князя. Взглянул на него Иван и вспомнил, как Бунко в собор зашел, как отец на него гневался, и молвил тихо боярину:

– Не послушал тата Бунко...

– Так Господь судил, – печально сказал боярин. Отвернув полы старого тулупа и показав княжичам рваную рясу, добавил с горечью: – Донага всех злодеи ограбили. Да благо и то, что живота не лишили...

– А где боярин Ховрин? – спросил Иван.

– А бог его ведает, – вздохнув, ответил Семен Иванович. – Вон, видишь, пятно на снегу? Там, у речки Колокши, Боярово князей Ряполовских. От их вести будут. Старшой-то, князь Иван Иванович, братьев, как сыновей, доржит. Грозен...

– Са-адись на-а са-ани-и! – раздались крики спереди и, передаваясь с подводы на подводу, покатались по всему поезду.

– На рысях пойдем! – крикнул, убегая вперед, Семен Иванович. – Слава богу, опять дорога накатана!

Поезд обогнул овражек и начал спускаться по пологому скату к руслу Колокши. С каждой пядью вперед ясней и ясней выделялось в снегах село Боярово среди ветел, берез и густого ивняка. Четко видно Ивану деревянную церковь с погостом, а за ней, перед кучками изб с огороженными дворами, высятся большие хоромы за крепкой бревенчатой стеной. Со двора хором тянется змеей отряд конников человек в полтора-два. Верхушки шлемов их горят и сверкают на солнце.

– Вои! – закричали кругом, не зная, что делать от испуга и неожиданности. – Вои Шемякины!..

Передовые быстро скакали к поезду. Княжичи, сидевшие рядом, переглянулись со страхом и словно оцепенели. Юрий уж не плакал на этот раз, но, побледнев весь, с тревогой спросил старшего брата:

– Схватят они нас?

– Не знаю, – тихо ответил Иван, – а может, то и не Шемякины вои, а Ряполовских... – Он сразу оборвал свою речь, узнав среди конников боярина Ховрина. – Васюк! – радостно закричал он. – Вон боярин Ховрин!..

– Ховрин, Ховрин! – пошло по всему поезду, и подводы остановились.

Ховрин тоже узнал некоторых бояр и слуг Василия Васильевича и, подскакав ближе, громко и тревожно закричал:

– Где же князь великий?

Семен Иванович, не слезая с подводы, горестно ответил:

– Поиман князем можайским у гроба Сергиева. К Шемяке его в Москву увезли злодеи! На голых санях...

– К Шемяке?! – с отчаянием вскрикнул Ховрин. – А княжичи где?

– Здесь мы оба, – поспешно ответил Иван, подымаясь из саней в своей монашеской одежде.

– Слава Богу, – глубоко вздохнув, молвил боярин Ховрин и, перекрестившись, добавил: – Пощадил еще Господь нас в гневе Своем... – Опустив голову, он помолчал малое время и, обернувшись к своим конникам, приказал возвращаться ко двору князей Ряполовских вместе с поездом.

Князь Иван Иванович Ряполовский заплакал, когда боярин Ховрин, войдя к нему с княжичами, рассказал, как был схвачен великий князь. Княжич Иван с истомой душевной смотрел на могучего человека с курчавой седеющей бородой, так похожего на Васюка, и видел, как нет-нет да и вздрогнут широкие плечи князя, а слезы одна за другой катятся по его суровому, неподвижному лицу. Наконец, покривив губы, Иван Иванович глубоко и прерывисто вздохнул, словно глотая рыдания. Отер глаза рукавом кафтана и, приказав своему дворецкому переодеть княжичей, тяжело опустился на скамью у стола, собранного к обеду.

Княжичи в сопровождении Илейки и Васюка пошли с дворецким. За спиной княжич Иван услышал голос Ховрина.

– Семен Иванович, – говорил он боярину Василию Васильевича, – пойдем со мной, обряжу ты, чем Бог послал...

– Не чем Бог послал, – перебил его густой голос Ивана Ряполовского, – а всем, что понадобится. От моего портища обряди...

Дворецкий Ряполовских, старичок небольшого роста, ожидая, пока слуги принесут одежду для княжичей, сбегал куда-то в подклети, принес княжичам медовых коврижек на блюде, достал потом из-за пазухи барашка из черной обожженной глины со свистулькой вместо хвостика и с ладами на боках.

Юрий с удовольствием взял занятную игрушку и начал насвистывать, перебирая лады. Дворецкий весело закивал головой, по-стариковски засеменил к Ивану и уж запустил снова руку к себе за пазуху, чтобы достать глиняного коня, тоже со свистулькой, но вдруг смущенно остановился. Перед ним был мальчик на вид лет двенадцати, почти одного с ним роста, но глядел на него большими карими глазами совсем как взрослый. Взгляд его, суровый и печальный, словно пронизывал дворецкого, и старик оробел, молчал, растерянно улыбаясь.

– А пошто и как сюда Ховрин пригнал? – спросил тихо княжич Иван. – Пошто не упредил нас никто из его охраны?

Не сразу ответил дворецкий, так необычно было ему из уст мальчика слышать такие речи. Васюк, видя это, довольно усмехнулся и подмигнул Илейке, а у того сами губы расплылись от улыбки. Оправился дворецкий и заговорил с Иваном степенно, как со взрослым.

– По то боярин Ховрин пригнал сюды, – начал он, – чтобы моих государей, князей Ряполовских, на рать поднять за князя великого. От стражи своей ловчего Терентьича отпустил он к обители для-ради упреждения, а лиходеи Шемякины, баит он, схватить уж князя успели...

– Истинно так и было! – вмешался Васюк. – Истинно, Иванушка. От нашей-то стражи, что на Паже-реке оставлена была, тоже никто не вернулся.

– Токмо я, – воскликнул Илейка, – един я с Клементьевой горы злодеев узрил!

– «Токмо, токмо...» – сердито забормотал Васюк. – Токмо князь наш не готов был да на Бунко распалился зря.

– Во-во! – оживился дворецкий. – Вот от Бунко-то князь Ховрин и узнал все. Били его вои великого князя, а Ховрин-то и попытай их, пошто Бунко быют. Ну тут и уразумел все Ховрин, да сам и погнал к нам.

Княжич Иван замолчал и больше ни о чем не спрашивал. Одевшись в турецкий кафтан с кривым ножом у пояса, пошел он угрюмый в трапезную. Тяжело ему было и досадно на отца, а думы бегут разные и тут же разбегаются, и ничего в мыслях собрать он не может.

В сенцах неожиданно приник к нему Юрий и тихо зашептал в ухо:

– Тата прогнал Бунко, а ты бы что сделал?

Иван весьма удивился: брат казался ему все еще маленьким, он только ведь часовник читает с Алексеем Андреевичем. А тут вот смутил его.

– Яз бы поймать велел, – ответил вполголоса Иван, подумав, – распытал бы точно, где Шемяка, да обходными дорогами поскакал в Москву, али сюда, к Ряполовским, людей собирать для рати...

Красивые, как у отца, лучистые глаза Юрия вспыхнули и заблестели от восторга.

– Яз бы тоже так сделал, – быстро зашептал он, – сел бы потом на коня и повел бы полки на злого Шемяку...

В трапезной, где княжичей посадили за стол, начался уже совет. Говорил старший из Ряполовских, князь Иван Иванович. Около него сидели братья Семен и Димитрий Ивановичи, оба такие же могучие, как и хозяин, оба с такими же курчавыми бородами, как и у старшего брата.

Тут же были и боярин Ховрин и Семен Иванович, уже не в рваной рясе, а в цветистом боярском кафтане; были и бояре Ряполовские, и воевода их, Микула Степанович.

– Разумеют бояре московские, – говорил князь Иван Иванович, – чем Шемяка им пако-стен. Чужой он нам князь, и бояре московские чужие ему. Своих наведет он и бояр, и детей боярских, и отцов духовных, и гостей богатых.

– Отымет наши села с деревнями, – вставил боярин Ховрин, – своим отдаст, а нам хоть отъезжай из своих вотчин в чужие земли, отъезжай из гнезда своего и от могил родительских.

– Своим-то первые места будут, – яростно крикнул боярин Семен Иванович, – из доброго лучшие, а нам – из худого худшие!

Илейка, стоявший у стола рядом с Юрием, не вытерпел и, прожевав кусок баранины, сказал громко и убежденно:

– Сиротам тоже не сладко придется. Чужие-то совсем разграбят животы их и всякое именьишко! Чужие-то не навек придут – жадовать будут: что ни на есть – комком да в кучку, да под левую ручку.

– Вот, – возвысил свой густой голос князь Иван Иванович, – не захочет Москва Шемяку! Не на столе ему там сидеть придется, а на шиле! Не усидит.

Иван Иванович помолчал и стал говорить о сборе ратной силы, о том, как великого князя от Шемяки отбить, о том, как с отцами духовными вместе о неправдах, об изменах Шемякиных всему христианству поведать.

Княжич Иван впервые был на княжьем совете, и сердце его сильнее трепетало, чем на охоте. Словно на коне, гнался он за мыслями разными, то вот догонял, понимал все, то опять терял, но скоро все ясно ему стало, будто трудное письмо он с многими титлами прочел. Только вот что делать дальше, не знал. Да не он один, а и другие тоже не знали – ждали все,

что воевода Микула Степанович скажет. Дело это уж ратное. Микула же Степанович молчал, только лоб его бороздили морщины, да рука седую бороду вокруг пальцев крутила.

Замолкли и другие все, и княжич Иван впился в сухощавого старика с горбатым носом и с длинными седыми бровями, нависшими над быстрыми сверкающими глазами.

– Иного не ведаю, – начал воевода, – окромя как собрать что есть ратных людей и коней, да борзо вместе с княжичами в Муром отъехать, и в граде Муромском сесть за стены. Дороден град-то Муромский и татарами не тронут был. Токмо туда ехать тайно, а оттуда потом вести слать во все стороны. Придут к нам и бояре и ратные люди...

– Все пойдут за великого князя! – крикнул Васюк. – Как в Коломну шли при Юрье Митриче, так и в Муром пойдут! Упас Господь Бог нам княжичей.

Зашумели все кругом, начались опять разговоры, намечать стали подробно и ратных людей, и припасы, и коней, и кого к чему приставить, и брать ли подводы, или ехать с выюками только.

– Скорей бы, скорей ехать, Иванушка, – шептал Юрий брату на ухо, – а то настигнет опять нас Шемяка, как тогда в монастыре.

Опять загудел густой голос князя Ивана Ивановича:

– Завтра с благословения Божия, после утрени, без подвод, со всеми конниками в Муром пойдем. Поведет нас Микула Степаныч по Колошке вниз до Клязьмы-реки, мимо города Володимера, а там Судогдой до самого верха, а волоком до Ушны, а по Ушне вниз до Оки, от устья-то Ушны всего двадцать верст до Мурома...

Тут стали другие указывать иные пути и дороги, но князь Иван Иванович прекратил разговор.

– В пути Микула Степаныч сам прикажет, где лучше ехать. На поле воевода хозяин. Сей же часец в дорогу снаряжаться надобно, – сказал он и, обратясь к своему дворецкому, закончил: – Гребты тебе, старик, много сегодня будет с нашими сборами...

Глава 11

Предел скорби

В ночь на первый день Масленицы, февраля четырнадцатого, привезли в Москву великого князя Василия. Посадили его в нежилую подклеть при хоромах Шемякиных, а сам князь Димитрий Шемяка в те поры стоял на дворе Поповкине.

Было в подклети той одно лишь окошечко малое, у самого почти потолка – без рамы и задвижки, совсем открытое. В железы закованный, лежал князь недвижимо на лавке и даже пищи не брал. Тоска его давила, словно домовый насел на него, во всю грудь упираясь коленами. Не спал Василий Васильевич, и горше ему было, чем в полоне татарском у сыновей Улу-Махметовых.

Глядел неотрывно он в потемневшее перед рассветом небо, будто в окошечко малое оно вместо слюды вставлено. Видел князь семизвездный ковш, а рукоятка ковша уже круто к земле повернулась – так только под утро бывает. Невольно обо всем этом думается, а перед глазами в то же время, как сны, видения проходят. От самого детства до последнего нынешнего дня все прошло через память, а сердце слезами незримо набухло, стало тяжести непомерной.

– Зла беда лютая, – шепчет Василий Васильевич, – вскую Ты оставил мя, Господи?

Плакать, как у гроба Сергия, он больше не мог, и вздохнуть от боли душевной нет сил. Вот встали пред ним, как живые, и княгиня его, и мать, и Иван с Юрием. Захлебнулся от тоски он, совсем как в предсмертный час, и простонал:

– Боже милостивый, упаси их...

Два дня и две ночи в муках провел Василий Васильевич, не зная, что его ждет. Еще большие муки терпел он от обидных речей Никиты Константиновича, злого недруга, переметчика окаянного.

На третий день, в среду, пришел к нему в подклеть сам князь Димитрий Юрьевич Шемяка с боярами своими, со слугами и холопами. Сзади же, за боярами хоронясь, был и князь Можайский Иван Андреевич. Да и Шемяка не прямо глядел, а только исподтишка на Василия Васильевича взглядывал. Гремя цепями, встал с лавки великий князь, впился глазами в Шемяку, пронизал насквозь. Потемнело лицо у Димитрия Юрьевича, пятна пошли по нему, а глаза его всё книзу смотрят, только ресницы дрожат, словно хотят, да не могут подняться. Вдруг взгляды их сами встретились, и побледнели оба князя, как мел. Сжал кулаки Василий Васильевич, а у Шемяки, как у коня, ноздри раздулись...

– Вор, вор ты предо мной! – закричал Василий Васильевич. – Проклят от Бога, Иуда! Крест целовал лобзаньем Иудиным. Не примет тя Москва, не примет!

Смутился Шемяка, чуя всю неправду свою, но злоба оттого сильнее разгоралась. Задрожали у него губы, запрыгали.

– Не яз, а ты – Иуда! – взвизгнул он в бешенстве. – Пошто татар привел на Русскую землю?! Города с волостями отдал в кормление поганым? Татар любишь, а христиан томишь без милости! Совсем отатарился и речь татарскую боле русской любишь!

– Ложь слово твое, окаянный! – вскричал снова Василий Васильевич. – Что есть зла сего злее, как в обете крест целовати и целованье преступати! Оба вы с Можайским лживо пред Богом ходите. Волци в одеждах овчих!..

Ворвался в подклеть Никита Константинович, боярин Шемякин, а за ним слуги с горячей жаровней, а в ней – прут железный.

– Злодей! – распаляясь и топая ногами, неистово вопил Шемяка. – Ты брата моего ослепил, Василья Юрьича!

Зашумели, закричали кругом холопы, сбили с ног великого князя, вцепились в него, как борзые, растянув на полу. Понял все Василий Васильевич, обмер, да не успел и мыслей

собрать, как жаром пахнуло в лицо ему – и вдруг зашипел глаз его. Пронзительный крик оглушил всех в подклети, а Василий Васильевич сразу сомлел, словно умер, и не чуял уж, как и другой его глаз с шипеньем вытек...

В Москве Софья Витовтовна вместе с Марьей Ярославной стояла все еще на дворе зятя своего, князя Юрия Патрикеевича. Сам же князь Юрий, воевода московский, схвачен был Шемякой и заслан куда-то вместе с княгиней его Марьей Васильевной.

Была на дворе стража Шемякина с приставами, но княгинь держали в уважении, хотя разграбил у них Шемяка всю казну и имение. Занимали обе княгини лишь малые хоромы Софьи Витовтовны, а слуг имели тех только, что у старой государыни были, да еще был при них Константин Иванович с семейством и слугами, теснился он внизу хором, в жилых подклетях. Тесно всем было, да в тесноте – не в обиде, все ж на людях своих и сердце не так болело. Вести всякие приходили со всех сторон через верных слуг, не умирала в душе надежда.

Мамка Ульяна да Дуняха, ранее девка, а ныне женка Ростопчи законная, за Марьей Ярославной ходили, как за малым ребенком. Глаза все княгиня проплакала о муже и детях своих, а кроме того, тяжела была уж четвертый месяц. Днем княгини держались мужественно, а по ночам в опочивальне Софьи Витовтовны обе пред кивотом уж без слез и рыданий, а только со стонами, на полу лежа, взывали они в тоске к Богу, ища утешения.

Утром Марья Ярославна, когда Дуняха убирала ей волосы, сидела на стольце резном, неподвижно, с опухшими веками, и словно ничего не видела своими большими глазами.

– Свет мой, государыня, – тихо говорила ей Дуняха, надевая волосник, – пожалей себя, княгинюшка, для ради младенца. Обе с тобой мы брюхаты.

Дуняха вдруг застыдилась, а толстые губы ее расплылись в блаженную улыбку.

– Седни, – зашептала она виновато, – впервой седни, государыня, шевельнулся во мне он. Ручками, ножками толкат... А в тебе, государыня?..

Марья Ярославна печально улыбнулась и тихо промолвила:

– Рано моему-то, Дуняха. Четвертый месяц еще токмо. – Блеснули у нее темные глаза, и скупые слезинки повисли на ресницах. Помолчала она и, сцепив судорожно пальцы, просто-нала: – Государя-то, баишь ты, сюда привезли в заточенье. А детки где? Иванушка, Юрьюшка, милые! Ох, тошно, Дуняха, сердцу моему...

Опустила она в тоске голову, забыла все и не слышала, как вошла свекровь вместе с мамкой Ульяной. Осунулась, сморщилась вся Софья Витовтовна, да не сломилась и на этот раз, властно глядела кругом, глаза только глубоко запали.

– Бог милостив, Марьюшка, – сказала она. – Опять испытует Господь нас за грехи наши. Говорят, беда вымучит, беда и выучит... – Старая княгиня нахмурилась и добавила с досадой и горечью: – Токмо не нашего Василья! Скорочерен был и есть. Ты ж, доченька, не плачь на людях. Не наполним моря слезами, да не утешим злодеев и ворогов печалью своей...

– Не нас, сирот, Шемяка, а себя, злодей, в сердце поразит, – сурово сказала Ульянушка. – Животом пред Богом, Иуда, поплатится. Ад-то по ём, окаянном, давно плачет, ждет к себе не дождется.

– Истинно, – строго сказала Софья Витовтовна, желая прекратить разговор. – Димитрий-то сам на себя нож точит. Ну, пора нам. Пойдем на молебную. Господь лучше нас рассудит, чему и как быти...

После обеденной трапезы пришел ко княгиням Константин Иванович. Совсем поседела бородка его козлиная, ходит он пришибленный, озираясь со страхом. Всполошилась, глядя на него, старая государыня.

– Что, Иваныч? – скрывая свою тревогу, спросила она.

– Приведут государя сюды, – глухим, дрожащим голосом молвил дворецкий и не посмел больше прибавить из того, что знал.

– Пошто ж к нам приведут? – снова спросила Софья Витовтовна, не спуская глаз с дворецкого.

Замерла совсем Марья Ярославна, и все в покоях затихли, а дворецкий смотрел в землю и молчал.

– Не томи, Костянтин Иваныч, – чуть слышно взмолила Марья Ярославна.

Задрожала борода у дворецкого, но все же не сказал он, что хотел бы крикнуть во весь голос от боли, а начал совсем о другом.

– Баили мне, – заговорил он наконец, – пошлют государя вместе с княгиней на заточение в Углич, в темницу, а тебя, Софья Витовтовна, в Чухлому зашлют...

Софья Витовтовна перекрестилась широким крестом и сказала громко:

– Милостив еще к нам Господь Бог: не разлучил мужа и жену. Может, и деток к вам пришлет...

Смолкла вдруг. Увидела в отворенную дверь, что по сенцам люди идут. Солнце в трапезной по стенам и по полу играет, и кажется, в сенцах темно, но сразу по походке узнала сына своего Софья Витовтовна и замерла. Видит, не сам он идет, а ведут его. Вот до дверей довели – и вошел в трапезную великий князь, простирая руки вперед, как слепец. Кафтан изорван на нем и в крови, а шапка ушастая, малахай татарский, глаза закрывает.

Тишина в трапезной – дыханье слышно людское, но Василий Васильевич в безмолвии ясно людей чувствует. Понял, куда привели его, и, сняв шапку, стал креститься.

Окаменели все, как увидели, что у великого князя вместо глаз кроваво-багровая кора спеклась и лицо все опухло. Слышно было, как застучали громко зубы у Марьи Ярославны, и вскрикнула вдруг она, будто ножом ей в грудь ударили:

– Ва-асинька, Васинька-а мой!..

Бросилась к мужу, но упала без памяти у его ног, как мертвая. Ощупью нашел ее Василий Васильевич, поднял на руки и с подбежавшей Софьей Витовтовной и с дворецким отнес на скамью пристенную и сел рядом. Обнимал, целовал он княгиню свою и плакал молча, немой словно. А рядом с ним, схватившись за его плечи, забыв всю гордость и силу свою, билась в рыданиях старая государыня, причитая, как женка посадская:

– Сы-ы-но-очек, свет ты мой, сыно-о-очек! Что о злодеи с то-обой соде-еяли-и...

И непонятное Василию Васильевичу творилось с ним. Затихали его боли душевные, и тоска его запросила слов. Ни жены, ни матери, ни даже солнца, что в глаза ему прямо светило, не видел он, но сердцу все теплей и теплей становилось, будто и сердце ему, как и лицо, ласкало незримое солнце. Удержал он слезы и, обняв свою мать, сказал громко:

– Наказуя, наказа мя Господь, но смерти не предаде. Да буди, Господи, воля Твоя!

После ужина ушли Шемякины приставы спать в хоромы княжичей, а на дворе и у входных дверей в хоромы Софьи Витовтовны стражу поставили. Ушли и все слуги в подклети, осталось одно великокняжье семейство.

Обе княгини молчали, говорил только Василий Васильевич, о сестре Марье спрашивал, о воеводах и боярах своих. Отвечала Софья Витовтовна, а Марья Ярославна лежала беспомощно на пристенной лавке, положив голову на колени мужа. Он тихо и нежно гладил руку ее, а она, сомкнув крепко ресницы, боялась на него взглянуть.

– Сестра твоя с мужем засланы злодеем, куда – неведомо, – ровным глухим голосом рассказывала Софья Витовтовна. – Одни бояре твои разбежались, другие пойманы, а разграблены все до единого. Слуги наши доводят, что прочие дети боярские и люди всякие челом били Шемяке, и привел он их к крестному целованию.

Старая княгиня помолчала, шевеля сухими тонкими губами, словно шептала про себя о чем-то, и продолжала вслух:

– Сам знаешь, что люди малодушны и живота ради да имения своего кому хошь крест поцелуют. Токмо един воевода твой, Басёнок, не восхотел ворогу твоему челом бить. Повелел возложить на него Димитрей железы тяжкие и за стражей держать.

– Знаю сего слугу своего – не предаст государя он, а и железы не в страх ему. Храбр вельми и хитер в ратном деле Басёнок.

– Истинно, сыночек, – оживившись немного, отозвалась Софья Витовтовна. – Костянтин Иванович довел мне вчера, что с приставом своим бежал Басёнок-то в Коломну и лежит там по приятелям своим скрыто, сносясь со многими людьми втайне для-ради твоего спасения...

Задрожали руки у Василия Васильевича, и не мог он от радости слово вымолвить.

– Виноват яз пред Господом, – сказал он наконец, – но не оставляет он меня Своей милостью. – Помолчал он и воскликнул в горести великой: – Матушка моя родимая! Неразумен яз, гневлив и скоровверен! Но в муке сей, очи мои телесны загуби, отверз мне Господь очи духовные... Мати моя! Коли угодно будет Богу, паки спасен буду. Отклони же мя, Господи, от ярости скорой и скоровверия моего... – Слезы побежали из его пустых глаз, из-под струпьев багровых, и сказал он еще горестней: – Сыне мой Иване! Надежа моя! Государствованьем клянусь своим и твоим и христианством всем, что, буде воля Божия, все содею яз для Руси христианской! Сильным, могучим передам сыну княжество, как отец мой, Василь Димитрич, и ты, мати моя, его мне дали...

Он тихо сполз со скамьи, опустил на колени пред матерью и зарыдал.

Гладила голову ему Софья Витовтовна, а слезы у нее не шли уж, засохли в глазах.

– Благослови мя, мати моя, – дрожащим голосом продолжал Василий Васильевич. – Увезут тя далече. Яз же один, без тебя и совета твоего останусь. Но соберу весь разум свой в беде злой...

Всклинула вдруг старая княгиня, благословила сына и, обняв, зарыдала над ним. Склонясь к самому уху его, сказала:

– Мысли денно и ночью, как ворогов своих избыть, как заступу найти у христиан, а яз о том же помыслию с владыкой... – Перекрестила опять сына и добавила: – Марьюшку слушай. Она – глаза твои теперь, а там, коли Господь судит, глаза Иванушки твоими глазами будут.

Зашумела в сенцах стража, забелел уж в окнах рассвет, и приставы пришли. Встал с колен князь великий и молвил с тоской:

– Токмо бы Господь упас Ивана да Юрья, и не для нас ради, а для-ради всего христианства...

Вошли в покои приставы с воинами и приказали собираться. Указали, к кому какие из слуг княжих определены. Засуетился в хоромех дворецкий Константин Иванович со своими ключниками, но пусто было в подклетьях.

По-бедному, по-простому собралось княжое семейство и разместилось со слугами в двух поездах: один в Углич, другой – в Чухлому. Не видит Василий Васильевич ни бела дня, ни близких своих, чувствует только дрожащую руку княгини своей, что держит его, указуя путь к саням. Опять тоска смертная затомила великого князя, и кликнул он, как малый ребенок:

– Матушка!..

Трясущиеся руки порывисто охватили его голову. Прижимает сына к груди старая государыня, и шепчет он матери:

– В заточенье везут, в темницу, мати моя. Молись с попами по монастырям о спасении моем и об Иване с Юрьем, дабы не пресеклось с ними дело отцов и дедов наших...

– Пошли тебе Господь крепости и силы! – перебила его Софья Витовтовна. – Народ-то и церковь святая помогут нам.

Отошла. Зашумели, закричали кругом люди, понукая лошадей и перекликаясь меж собой по делам дорожным. Тронулись поезда, а из саней великого князя зарыдал женский голос, зазвенел жалобно:

– Государыня-матушка! На кого покидаешь нас, родимая?! На куски мое сердце расколося, во слезах оно захлебнулося...

Глава 12

Во граде Муромском

Февраля двадцатого прискакали князья Рязанские с княжичами Иваном и Юрием в Борисоглебский монастырь, что на реке Ушне. Отсюда в Муром рукой подать – всего верст семь-восемь, не более. В монастыре, отслушав литургию, пообедали у отца игумена вместе с воеводой князем Васильем Ивановичем Оболенским, который Бегища, посла Улу-Махметова, захватил, когда тот к царю казанскому назад от Шемяки ехал. Теперь же Василий Иванович в Москву собирался и весьма опечален был новой бедой великого князя. Стучал он кулаком по столу и зычным, густым голосом проклятья Шемяке выкликал, как приказы на боевом поле перед воинами. Излив досаду свою, сказал он потом спокойнее, но с горечью великой, обращаясь к княжичу Ивану:

– Запомни, Иване, плохо скороверным да ярным быть! Государю же на государстве, все едино как воеводе на рати, – что ни делай, а на свой хвост оглядывайся! Не зря бают: берегись бед, пока их нет... – Крякнул старик сердито, осушил стопку крепкого меда стоялого монастырского и добавил: – Ну да что! Долги речи – лишняя скорбь. Вынять надо из заточенья князя великого. Да благословит Бог почин наш!

– Аминь, – сказал игумен. – Почнем с упованием на Господа...

– Обо всем, княже, мы, как подобает, помыслим во граде Муромском, – сурово и многозначительно молвил князь Иван Иванович Рязанский, обращаясь к воеводе. – Дело-то ратно, а наипаче всего – тайное...

Все встали от трапезы и, благословясь после молитвы у отца игумена, пошли к коням своим, стоявшим уже у крыльца келарских хором.

Садясь верхом, княжич Иван посмотрел, как Юрий ловко в седло вскочил, и подивился меньшому брату. Быстрее его привык Юрий ездить и, хотя ростом еще невелик, а сидит на коне не хуже других. Васюк его хвалит, говорит, что добрый воин будет из Юрия. Доволен Иван, любит он брата, любит им, а тот, круто повернувшись, подъехал к нему и стал конь о конь. Переглянулись оба ласково, подружились они крепко за тяжелые дни. Поехали рядом, невдалеке от Рязанских, а сзади них – Васюк с Илейкой, дядьки их верные. Вместе с Рязанскими и Оболенский едет, а конников стало теперь вдвое больше.

– Гляди-ка, Иванушка, – радостно сказал Юрий брату, – сколько воев у нас!

– Васюк Богом клянется, – откликнулся Иван, – что со всей Руси народ к нам придет. Побьем мы Шемяку.

Дал знак князь Василий Оболенский, и поскакали все разом. Гулкий топот пошел по звонкому речному льду, но скоро стих: вынесли кони всадников на пологий берег и рысью пошли по талой дороге – оттепели начались – Василий-капельник уж не за горами.

Не успели и пяти верст от монастыря отъехать, как стало видать слободы ремесленников. Илейка не выдержал и, подскакав ближе к княжичам, закричал им:

– В слободах-то мережники тут более живут! Ох, и добрые мережи плетут! Какие у их ставные сети, какие вятеры! А и рыбы в Оке – что в самой Волге-матушке!..

Вот и Муром весь, как на ладони, на левом берегу стоит. Видно кремль, из дуба рубленный, с проезжими и глухими башнями, а рядом – посад с его концами и улицами.

Снял шапку князь Иван Иванович Рязанский и перекрестился истово широким крестом, а за ним и все прочие. Воевода князь Оболенский оглядел знакомые места и сказал уверенно зычным, густым голосом:

– Тут отсидимся. Не токмо Шемяка, а и татары о сии стены зубы ломают.

Недели через две в кремле Муромском вечером как-то, когда все уже при свечах и лучинах сидели, зашел в покои княжичей отец Иоиль.

Удивились ему княжичи. С любопытством смотрели они на маленького попика с седой пушистой головкой и с такими густыми бровями, словно усы у него на лбу. Смешной немного попик, чудной какой-то малыш. Но когда Илейка и Васюк с благоговением приняли от него благословение, Иван, толкнув слегка Юрия, тоже подошел к руке отца Иоиля. Попик ласково улыбнулся и, благословив обоих княжичей, сел на пристенную скамью. Усадил потом против себя княжичей, помолчал, и лицо его запечалилось на малое время, но скоро он снова заулыбался и сказал тихо и задумчиво:

– Князи Ряполовские теперь вот о вас с воеводами совет держат, аз же вот с вами, дети мои, побеседую. Немало, чай, натерпелись. Все пройдет, не крушитесь, детки. Мы вот тут и князя великого, отца вашего, в плену у нечестивых видели, а когда Господь дал, и из полона встречали. Много тогда святые обители и храмы Божии на окуп за князя серебра и злата собрали, да не менее того дал за него богатый гость Строгонов, а людие Божие и того больше дали, особенно сироты и слуги княжии...

– Чем же слуги да сироты церковей богаче и гостей богатых? – спросил Иван в недоумении.

Отец Иоиль зашевелил густыми бровями и радостно ответил:

– Разумно, Иване, вопрошаешь, ибо не прошло мимо ушей твоих мое нарочитое слово. Потому, княжич, сироты и слуги более дают, что они кровью своей и самим животом для князя жертвуют! Не забудь сего, Иванушка...

– Истинно, истинно! – разом воскликнули Илейка и Васюк. – Так оно, верно, отец наш! Кто именье и злато, а мы за государя своего живот отдаем...

– Благослови вас Господь, чада мои, – молвил отец Иоиль и, обращаясь к Ивану, продолжал: – Отцу своему ныне ты помочь, Иванушка, власти его государевой наследник. Мал еще ты, но вельми, не по летам своим, разумен, а посему, чаю, постигнешь мысли мои. Слушайте же оба, и ты, Юрий, – с великим прилежанием и вниманием слушайте, ибо в жребии вашем опять перемена по воле Божией. Сюда вскорости за вами приедет владыка рязанский Иона от Шемяки...

Отец Иоиль оборвал свою речь и смолк, увидев, как побледнели оба княжича, а у Юрия задрожали губы. Хотел было попик что-то сказать успокоительное, но большие черные глаза Ивана не по-детски вдруг вспыхнули, стали страшными, и суровое лицо его застыло. Обнял он за плечо брата Юрия и молвил твердо:

– Не обманет нас владыка! Не отдадут нас Шемяке, Ряполовские и Оболенский заступятся...

Вскочил с лавки отец Иоиль, обнял княжича дрожащими руками.

– Что ты, Иванушка, окстись! – воскликнул он. – Владыко-то за вас, детки!

Переглянулись дядьки княжичей, и, нагнувшись, Илейка шепнул Васюку об Иване:

– В бабку пошел, ишь, как строг-то!

Молча стоял княжич Иван и, казалось, спокойно. Сердце же его билось тревожно и гневно: старался он уразуметь слова и поступки отца Иоиля. На целую голову выше был он обнимавшего его попика и, глядя на него сверху вниз, вспоминал слова: «Богу молись, а монахам не верь».

Успокоился отец Иоиль, опустил опять на лавку пристенную и, мрачно сдвинув густые брови, сказал:

– Верь, Иванушка, владыке во всем. Духом ты и разумом не отрок, а яко юноша зело мудрый. Ведай же истину: сел ныне Шемяка злодей на московский стол. Отца и мать твоих в темницу заточил он в Угличе, а бабку в Чухлому заслал. Мыслит зло и на вас он, на княжичей, да боится отцов духовных, а наипаче владыки Ионы. Не таись от святителя.

– Не отдадут нас князья Ряполовские, – молвил, нахмурясь, Иван.

– Воевода говорит, – вмешался Юрий, – не достанет нас Шемяка в Муроме!..

Отстранив брата рукой, Иван продолжал сурово и твердо:

– Кому же нам верить? Богом клялся ты, Васюк, что со всей Руси помочь нам будет. Ты, отец Иоиль, тоже с нами. Владыка же с Шемякой, а отец, матушка и бабка...

Всхлипнул вдруг громко Иван и, зажав лицо руками, горестно простонал:

– Тата мой! Матушка милая...

Бросился к брату Юрий и, обнимая его, громко заплакал.

Прошло уже много дней. Давным-давно бежали снега с гор и пригорков, отыграли, отшумели по оврагам ручьями, и Ока уже вся от льда у Мурома очистилась. Суетится Илейка и радуется рыбацкой радостью.

– Княжичи мои милые, – говорит он, сияя, – лед-то весь на Никиту прошел! Рыбаки тутошни бают, знатный лов рыбы весь апрель и май будет!.. А вот с Василья Парийского совсем весна начнет землю парить, и медведь тогда встанет, и заяц лежать бросит, на слуху жить будет...

Закружил старик княжичей, и на реку водил, и в поле, и в лес, а Васюк обещал показать, как лисицы из старых нор в новые переселяются. Не раз ходил с ними и маленький попик, что немного повыше Юрия. Апреля на девятнадцатый день ходили они все вместе по огородам. Теплей стало, сильнее пригревает уж солнышко, шумят воробы, грачи каркают, а на дворах петухи поют. Береза уж вся опушилась, только дуб еще тепла ждет.

Женки целны дни на огородах, одни морковь и свеклу сеют, другие холсты расстилают, приговаривая весело:

– Вот тебе, матушка весна, нова новина!

Забылись совсем сегодня княжичи, нежась в тепле солнечном, вдыхая прелый земляной дух от вскопанных гряд, но маленький попик почему-то все время в тревоге и все домой зовет их.

– Расскажу аз вам, дети мои, про Царьград, – говорит он ласково.

Не хотелось домой княжичам, но послушались попика. Полюбился им отец Иоиль. Много он занятного знает, и в Царьграде был, и храм святой Софии видел, и ристанья коней, в колесницы впряженных, дважды смотрел. Когда же вернулись все в хоромы княжичей, запечалился попик и не сразу рассказывать стал.

– Все службы патриаршие, дети мои, удостоился аз зрети, – заговорил он наконец, – а за обедней как диакон допущен был рипиду держать и вместе с грецким диаконом и рипидой своей помавал над святыми дарами.

Жадно слушают его княжичи. Обо всем ведать хотят подробно.

– Пошто же ты в Царьград ездил, – спросил Иван, – и где там коней видел?

– С боярами ездил туда, с вельможами грецкими и отцами духовными, а сам еще млад был, во диаконы токмо был рукоположен. Тетку твою родную, княжну Анну Васильевну, в Царьград мы провожали. Дед твой, покойный государь Василь Димитрич, и бабка, государыня Софья Витовтовна, выдали ее за царевича цареградского Ивана Мануилыча Палеолога. Оный царевич по отречении отца сам царем стал, а тетка твоя – царицей...

Опустил седую пушистую голову отец Иоиль и задумался. Молодость вспомнил и жену-молодку, ныне уж покойную старушку свою Сосипатру. Только женился тогда он, а владыка приказал с княжной Анной в Грецию ехать.

– Ох и плакала Сосипатрушка, – невольно вымолвил вслух он и, смутившись, пояснил торопливо: – Жена моя, мать диаконица. Деток вот Господь нам не дал!

– А где они в Царьграде на конях скачут? – нетерпеливо перебил его Иван. – Какие у них колесницы?

Отец Иоиль вздохнул, медленно перекрестился и прошептал:

– Царство тебе небесное, раба Божия Сосипатра... – Опять спокойно и ласково стало лицо его, и, обратясь к княжичам, продолжал рассказ свой. – Есть в Царьграде поприще великое, деревьями обсажено, – говорил попик негромко, – как бы подковой в длину растянуто.

Вокруг поприща изрыты ступени из земли и камнем выложены. Тут сиденья народу изготовлены, чтобы глядеть на ристания. У концов подковы – стояла для коней и колесниц, и протянута веревка. Народ-то как обсядет кругом поприще, шум и плеск пойдет, и крики, и ругани, и смех. Ристатели же на колесницах своих у веревки ждут. Одни все в белом, другие в красном, а более всего ристателей в зеленом и голубом. Сие и есть ристалище конское, а по-грецки – гипподромосом именуемо.

– А чего ждут-то ристатели, – спросил Иван, – и пошто веревка протянута?

– Знака ждут, – продолжал отец Иоиль, – а знак-то с еллинской хитростью содеют. Перед стойлами там каменной столб врыт, а на столбе орел медный. И как орел сей кверху подымется сам...

– Как сам? – с удивлением вскрикнул Иван.

– Сам, Иване, – строго повторил попик, – хитростью велией так в столбе все изделано, что на рожне тонком сам орел подымается. Когда же подымется орел, сразу все тьмы народа стихнут, а стражи враз веревку отдернут, и трубы затрубят, а кони с колесницами, пыль подняв, поскачут все враз. Стук от копыт, ржание, а от колес грохот великий. Ристатели же, стоя на колесницах, сами четверками правят. Тут кто за кого кричит: тот за белых, тот за алых, но боле всего за голубых и зеленых кричат... Кони же с колесницами мимо сидящих скачут к полукружью подковы. Обогнут другой столб там и сизнова мчат к стойлам, а от стойл паки к полукружью. Так двенадцать раз проскачут, всячески тшась одни других обогнать, и тот из них победит, кто पहले всех в двенадцатый раз к столбу с орлом достигнет...

– Ишь ты! – воскликнул Илейка. – Все едино, как у татар в праздник байрам бывает!

– Токмо у татар, – поправил его Васюк, – верхами скачут. Далеко в степь гонят, из очей скроются, а потом назад! Они, татары-то...

Васюк смолк и почтительно поклонился князю Димитрию Ивановичу, младшему из Ряполовских. Князь был тревожен и молча принял поклоны и благословение отца Иоиля. Потом, оглядев всех, сказал угрюмо:

– Идите в трапезную, владыка Иона приехал.

Княжичи как будто не испугались, но побледнели оба и крепко взялись за руки. Дядьки их встревожились, а отец Иоиль быстро подошел к княжичам и, крестя их частым крестом, зашептал горячо:

– Благослови вас Господь, укрепи Своей крепостью, спаси и помилуй!

Иван взглянул на попика и, увидев мелкие слезинки на глазах его, смотревших с любовью жалостью из-под белых бровей, крепко поцеловал благословлявшую его руку.

В трапезной были все в сборе, и на почетном месте спокойно и величаво сидел владыка Иона в епископском облачении и в клобуке. Высокий посох его держал служка, стоявший позади владыки. Ряполовские, Оболенский, не смея сесть, почтительно, в великом смятении и тревоге, окружили Иону. Старший из князей, горячо говоривший о чем-то владыке, быстро обернулся при входе княжичей и воскликнул:

– Вот они, дети государя нашего! Ты же – отец наш духовный! Рассуди и обмысли. Будь жив митрополит Фотий, не посмели бы злодеи с государем сие учинить. Где же ныне десница церкви святой?

Владыка Иона ничего не ответил. Большие светлые глаза его остановились на княжичах. Боязно стало Ивану от ясного лучистого взгляда.

Благословив отца Иоиля, сказал владыка тихо, все еще не отрывая глаз от княжичей:

– Подойдите ко мне, дети мои.

Юрий, заробев, спрятался за брата, но Иван медленно подошел к святителю, не опуская глаз перед ним, хотя и испытывал какой-то страх. Хотел видеть он, нет ли зла и неправды в лице владыки. Иона улыбнулся и, благословив Ивана, сказал:

– Боле, чем отец твой, подобен ты, Иване, деду Василью Димитричу, и с бабкой схож ты. Ни в горе, ни в страхе разума не теряешь, а все уразуметь хочешь и сам испытать.

Иван смутился, вспомнив слова отца Иоиля, что владыка Иона в мыслях читает, и молчал. Благословив Юрия, потом Илейку и Васюка, владыка опять обратился к Ивану глаза, прозрачные, как у мамки Ульяны.

– Отче, – робко вполголоса сказал Иван, – боюсь Шемяки...

– Сам ли так мыслишь, или от старших слышал? – спросил владыка.

Вспомнил Иван Сергиев монастырь, когда прискакали туда Шемякины воины с князем Можайским, вспомнил о бабке и матери. Захотелось ему снова кричать и плакать, но, овладев собой, молвил он с трудом:

– Видел, отче, сам, как тату из собора тащили... Ныне ж, мне сказывали, в темнице он с матушкой, а ты от Шемяки за нами приехал... Нет ниоткуда нам помочи, зло лишь одно...

– Сие так и есть, Иване, – перебил его владыка, – сие так, к прискорбию нашему, а может быть и горше, ежели Господь не помилует. Но, опричь милости Божией, надобно самим нам все с разумом деяти, ибо как душа бессмертная, так и разум от Бога нам даден... – Владыка помолчал и, обратясь к князю Ивану Рязанскому, добавил с горечью: – Прав ты. Нет у нас митрополита, и без главы Церковь русская. Аз же есмь токмо нареченный, но не рукоположенный митрополит. Посему вот и дитя сердцем своим чует токмо зло на Руси. Вы же, мужи брадатые, того не разумеете, что когда одно злодеяние без препоны свершилось, то и новое паки может совершиться. Войска у вас мало, где же вы силы возьмете, ежели князь Димитрей полки свои пришлет к Мурому?

Переглянулись в смущенье князья Рязанские и воеводы, понимали они, что за одними стенами без силы человеческой не спасешься. Известно им было, что приверженцы великого князя – шурины его, князь Василий Ярославич, и воевода московский, князь Семен Иванович Оболенский, – бежали в Литву, а к ним потом прибежал и другой воевода Василия Васильевича – Федор Басёнок, а царевичи татарские, Касим и Якуб, были неведомо где...

– Благослови нас, владыко, думу думать, – сказал главный воевода, Василий Оболенский, – а сего ради повтори нам еще раз, что Шемяка сулит и в чем крепость слов его?

Иона, помедлив немного, отвечал:

– Вникните в речи мои, ибо добра и блага хочу великому князю Василью Василичу и семейству его. Митрополит Фотий за великого князя с отрочества его радел и в борьбе за московский стол был за Василья Василича и против его дяди, Юрия Димитрича Галицкого. Так и аз ныне со всей святой церковью выступлю против Шемяки, сына князя Юрия. Ведомо сие Шемяке, и, думая лихо на княжичей сих, страх он имеет пред народом и отцами духовными. Посему призвал меня он на Москву, обещал мне митрополию, дабы помочь ему противу гнева народного и дабы крепче ему на Москве сидеть. Призвав же мя, так начал глаголити мне: «Отче, плыви на ладьях, благо реки оттаяли, в епископию свою, до града Мурома, и возьми тамо детей великого князя на свою епитрахиль,⁷⁴ привези их ко мне, а яз рад их жаловать. Отца же их, великого князя Василья, выпущу и вотчину дам ему достаточную, дабы можно ему с семейством жить, ни в чем нужды не ведая». В том пред Богом мне клятвы дал.

Поклонились молча владыка Оболенский и все Рязанские и молча же пошли к дверям. Грустно смотрел им во след владыка Иона. Видя и слыша все это, снова стали тревожны княжичи. Опустив головы, стояли они, не двигаясь, около дядек своих, позади маленького попики Иоиля...

Когда ушли все, владыка взглянул светлыми своими глазами на княжичей и на отца Иоиля, и ласков был взгляд его.

⁷⁴ «Взять на епитрахиль» – значило взять под покровительство церкви.

– Сядьте, – тихо молвил он и, закрыв глаза рукой, оперся на стол, будто в дреме от дорожной усталости.

Затаились все в трапезной, а пред очами владыки, словно сон и видения, понеслось все, что видел он на Руси и о чем думал со скорбью и мукой.

– Как святитель Фотий в зовещании пишет, – без слов шептали его губы, – так и мне от святительства непрестанно горечь едина от слез и рыданий, от трудов и тягостей...

Вспомнилось, сколько Фотий муки принял, утверждая на престоле московском малолетнего князя Василия. Побороли тогда дядю его, Юрия Дмитриевича, а ныне вот Юрьичи ратерзали всю Русь усобицами, а кругом татары еще крепки. У самого края земли русской засели ливонские рыцари, и далее враги есть – шведы, а тут литовцы и поляки, еретики-униаты, изпод руки папы все время православью грозят. Вздыхнув, владыка о великом князе вспомнил и опять зашептал безгласно, одними губами:

– Добр, ласков и чадолюбив, а в злобе яр непомерно. Очи Косому вынул, ныне вот самого Господь наказал. Как дитя малое, токмо то ведает, что круг него, а вдаль и смотреть не хочет – и не от скудости разума, а из прихоти своей...

Губы владыки перестали шевелиться и дрогнули мимолетной улыбкой. «В одном Господь укрепил его разум, – подумал он с умилением. – Тверд в вере православной, не то что цари и патриархи цареградские. Не склонил его ни папа Евгений, ни папист богомерзкий Исидор...»

И вот опять словно сны и видения пошли пред очами владыки. Видит он себя после избрания в митрополиты всея Руси в самом Цареграде. Вот в роскошном дворце он каменном, где иконы и картины святые и красками по стенам и потолку писаны и из малых разноцветных камешков дивно составлены, а очи у всех святых, как живые, глядят и, когда идешь, вслед тебе смотрят неотрывно. Царя грецкого видит в багрянице пышной, в короне и золоте, и царицу, княжну бывшую, сестру князя Василия, Анну Васильевну. Ласковы они, и патриарх цареградский тут во воем облачении, и тоже ласков, как греки умеют, когда им надобно это.

– Верил им, – шепчет Иона, – а не ведал тогда, что в латыньство поганое они уж склонялись и веру свою предать готовы уж были...

Помнит владыка всю горечь свою, когда царь и патриарх, отпуская его с честью, говорили с лицемерием великим:

– Жалеем, что, ускорив поставить митрополитом русским грека Исидора, тебя, русского, не утвердили. Но пред Богом тебе обещаем митрополию русскую, как токмо она опразнится...

Знал теперь Иона, что царь и патриарх к восьмому еретическому собору тогда готовились, к папе Евгению склонялись, помощи его искали против турок...

«Но не помог им Господь, – думает владыка, – не постигли они разумом своим человеческим разума Божия; не постигли, что волею Божью кругом их творится...»

Владыка отнял руку от глаз и оглядел трапезную.

– Подремли, владыко, – сказал ему отец Иоиль, – подремли еще, а то и очей сомкнуть не успел, как сызнова бодрствуешь. Устал ты от пути трудного...

Улыбнулся владыка и молвил приветливо попику:

– Не дремал аз, отец Иоиль, а Царьград нечаянно вспомнил. И ты бывал там, знаешь град сей. Не нужны нам неверные греки, яко папист Исидор. Нужны нам свои епископы, русские, дабы отечество их тут, у нас на Руси было, а не в Царьграде, дабы русским, а не грецким государям помочь от них была.

Умилился попик и громко воскликнул:

– Истинно, владыко! Токмо не одни епископы русские надобны, но и патриарх московской и всея Руси!

Улыбнулся владыка радостно, когда братья Ряполовские с Оболенским Василием Ивановичем входили в трапезную. Поклонясь земно, стали они строго и чинно, важное дело творя

и ответ свой перед отечеством помня. Встал и владыка, встали княжичи и все прочие. Выступил вперед князь Иван Иванович, как старший брат, и, владыке опять поклонясь, сказал:

– Верим тебе, нареченному митрополиту нашему. Как попам и епископам глава ты единая, так и князь московской у нас на Руси единая глава над всеми князьями. Знай посему, хотим мы злодея Шемяку, вора пред государем своим, согнать со стола московского. Верим тебе, владыко. Завтра после заутрени возьми на епитрахиль княжичей. За них твой ответ пред нами и Господом. Мы же поедem с тобой, одних княжичей не отпустим... – Помолчал князь Иван Иванович и продолжал с горечью: – Сам ты ведаешь, смуты кругом, междоусобия великие, а в церкви православной – еретичество. Думу думая, мыслили мы, ежели тебя не послушаем, пойдет Шемяка на нас войной, град возьмет, а княжичей захватив, что хочет, то и сотворит с ними, как и с отцом их и всеми нами. Верим тебе мы, владыко, токмо не дерзнем без крепости отпустить детей князя великого.

– Завтра же, – сказал владыка Иона, – буду аз с вами в соборной церкви Рождества Пресвятыя Богородицы и с пелены Богородичной на свою епитрахиль возьму их. Бог нам свидетель, все мы за правое дело. Да поможет нам Господь! – Владыка, обернувшись к иконам, перекрестился широким крестом.

– Аминь, – ответили все вслед за отцом Иоилем и тоже закрестились на образа.

– Верите вы мне, – продолжал владыка, – верю и аз вам, благочестивые и верные чада мои! Первее всего надобно нам на Москве государя всея Руси вольного, а не по ярлыку царя ордынского. Будет у нас свой царь; будет свой, ежели не патриарх, как отец Иоиль хочет, то митрополит свой, не от греков, а от собора своих святителей русских рукоположенный. Ныне же патриарх цареградский склонился к ереси латыньской, а митрополит наш, как ведаете, осьмой собор принял и веру отцов наших еретикам предал! – Обратясь к княжичам, он добавил: – Для сего ради за отца вашего и церковь православная и все людие подымутся и глас свой возвысят. Чует сие Шемяка, оттого и слабость его. Запомните все, что было с вами. Подрастете когда, уразумеее, чего теперь осмыслить не можете...

На другой день, еще до звона к заутрене, потянулся народ толпами из кремля и со всех концов посадских к соборному храму Рождества Богородицы. Никому ни о чем объявлено не было, а все знали, что происходить будет в соборе муромском.

День начался солнечный, и скворцы у всех скворечниц так из себя и выходили, и стоял над городом непрерывный птичий гам, пока колокола не загудели, заглушив благовестом и пение птиц, и говор людской, и топот конский, и даже грохот и скрип телег. Битком набито было народа в соборе, когда княжичи Иван и Юрий, в сопровождении Ряполовских, Оболенского, бояр и детей боярских, вошли в храм. Илейка и Васюк неотлучно были при княжичах и шли позади них, впереди князей и бояр – боялись они даже на миг краткий отойти от питомцев своих, особенно на многолюдстве таком.

– Богу и государыне Софье Витовтовне клялся я за них, – сурово и твердо сказал Васюк Ряполовским, – а посему ни я, ни Илейка шагу от них не отступим...

Навстречу княжичам вышел отец Иоиль, подвел их к левому клиросу и поставил перед образом Богородицы, у самой пелены подиконной, золотом шитой и жемчугом низанной. Тут же и сам стал он позади княжичей, рядом с Илейкой и Васюком.

– На колени станьте, – сказал отец Иоиль княжичам и, когда те стали, накрыл им головы пеленою подиконной от образа Богородицы.

Опять беспокойство и тревога затомили княжичей. Горестно переглянулись они под пеленой, и Юрий, крепко схватив Ивана за руку, шепнул ему с трепетом:

– Страшно, Иване! Одни мы тут брошены...

Сжалось сердце у Ивана, и почуял он всю правду слов Юрия и в тоске своей еще больше пожалел и себя и брата. Понимал он теперь: что хотят с ними, то и сделают, но, брата жалея, сказал твердо:

– Ничего, Юрьюшка, не одни мы. Илейка да Васюк с нами, Ряполовские да и сам владыка...

– Боюсь яз владыки, – торопливо зашептал опять Юрий, – а вот отец Иоиль любит нас...

– Молись, Юрьюшка, Бог нам поможет, – прервал его Иван, – а тамо и тату и матуньку увидим, а с ними и бабу найдем... – Он смолк сразу и закрестился порывисто и страстно. – Господи, Иисусе Христе, Богородица Пречистая, ангелы святые и угодники, – шептал он громко, не так, как учили его молиться, а как мамка Ульяна молится, – спасите тату и матуньку, бабу и нас с Юрьем! Господи, спаси и помилуй нас, грешных...

Он сам не сознавал, что говорит, но весь стремился к неведомому всемогущему Богу, Который может все чудеса творить, будь только воля Его. Юрий тоже крестился и шептал что-то, как и брат его.

Вдруг пелена, скользнув по головам княжичей, открылась, и попик Иоиль, взяв их за руки, повел к амвону, где в полном святительском облачении, в золотой митре с камнями самоцветными, с золотым наперсным крестом на груди стоял владыка Иона. Лицо у него было просветленное, но все же строгое, как у святых на иконах. Вплотную подвел к нему княжичей попик Иоиль и шепнул:

– На колени, дети мои...

Княжичи враз опустили на колени, очутившись у самых ног Ионы. Он накрыл их обоих своей епитрахилью. Стихло все в церкви и замерло, и почувствовал Иван, что руки дрожат у него и холод бежит по спине.

– Господь и Бог мой! – вдруг громко и четко прокатился под сводами церкви голос владыки.

Вздрогнул Иван, и почудилось ему, что вместе с ним вздрогнул и Юрий, вздрогнули, казалось, и все Ряполовские, и Оболенский, Васюк, Илейка, отец Иоиль, и воины, и сироты княжие, и все люди посадские. Волнение пошло незримое и неслышимое во всем храме, да и самый голос Ионы пресекся вдруг.

Но вот опять звучат слова его громко и страстно:

– Пред лицом Твоим, Господи, беру отроков сих на епитрахиль свою епископскую, под защиту Церкви святой твоей! Иисусе Христе и Пречистая Мати, заступница наша, заступите и спасите невинных сих, дабы с отцом своим, князем великим Василием, и с великими княгинями во здравии и благополучии соединились. Изведите из темницы злой государя нашего...

Снова пресекся голос владыки, а в храме стоны пошли и рыдания женские, и с ними заплакали вдруг княжичи, колебля епитрахиль своими рыданиями.

Пришел в себя Иван, когда владыка, сняв епитрахиль, благословлял их.

Попик Иоиль отвел княжичей опять на клирос. Народ же стоял в храме и не расходился, и выступил вперед князь Иван Ряполовский и сказал, чтобы все слышали, обратясь к владыке Ионе:

– Отче святой! Отдали мы тебе детей великого князя, на патрахиль твою. Ты и церковь ныне за них пред Богом в ответе. Мы же здесь, в храме, пред тобой и пред Богом клянемся, живота не щадя, князю великому и детям его служить. Ежели ты не упасешь их, то мы и все люди ратью пойдем на Шемяку, за государя и княжичей сих свои головы сложим!..

– Будем биться со злодеем! – загудели голоса в церкви. – Со всей Руси пойдем на Шемяку!

– Вы, отцы духовные, – крикнул из толпы какой-то могучий старик в лаптях, – против злодеев с крестами, а мы, сироты, – со стрелами да кольями, – смуту бы они не сеяли! Христианскую бы кровь не лили, нас бы не зорили ни грабежом, ни полоном...

Глава 13

У злого врага

Плыли от Мурома на трех ладьях больших: на одной – владыка Иона с княжичами, на другой – Ряполовские и воевода их, Микула Степанович, а на третьей, самой большой, – стража, да везли еще пшено и всякую кладь дорожную для конников – их сотни две было. Ехали конные берегом, поотстав немного от лодок, а впереди, дорогу разведывая, дозор скакал из десяти воинов. До устья Ушны по Оке на веслах шли, а от устья, вверх по течению, бечевой кони тянули ладьи до самого волока у верховьев правого притока Ушны. Тут, выгрузив из лодок все, волокли ладьи конской запряжкой на слегах и ветлугах верст десять до первого правого притока Судогды, а потом опять на веслах шли до самого Владимира, что на Клязьме. Здесь остановки не делали, а поплыли вверх по малой Нерли и дальше по Каменке, прямо к Суздалию.

Утром ранним мая в первый день, когда сироты в поле зябь боронить начинают, сошли все с лодок недалеко от Суздаля и пошли пеши к Спасо-Евфимиеву монастырю. Владыка же Иона и княжичи на ладье своей остались со стражей, а конники, вброд перейдя Нерль выше Каменки, придвинулись к лодкам поближе. С ними был и Микула Степанович, а дозорные, по его приказу, вперед поскакали в обитель с вестью о владыке.

Княжич Иван стоял вместе с Юрием на корме лодки и жадно глядел окрест, следя за указаньями Васюка.

– Тут вот, Иване, – говорит тот, – полагать надобно, к монастырю ближе и бои были. Помнишь, как бабке твоей Ростопча да Фёдорце Клину сказывали. Тамо вон, где мы плыли, ниже Каменки, поганые, видать, через Нерль плавились...

Вдруг сжалось сердце Ивана от боли, и ясно так, словно снова увиделось все, что в Москве тогда было. И сотник Ачисан ему представился, и бабка, что кресты тельные в руке крепко зажала, и тихий, но страшный вскрик матушки, и тату он вспомнил, каким в последний раз видел его в голых санях, в полушубке старом, когда он ехал к Пивной башне, в окна глядел и словно ничего не видел...

– Шемяка проклятый! – резко и громко сказал он. – Хуже и злей ты Улу-Махмета!..

– Иване, Иване, – послышался голос из-под лодочного навеса, – держи сердце свое. Не гневи ты Шемяку, когда предстанешь пред ним. Ежели любишь отца и мать, не гневи их врага злого, дабы горшего зла не сотворил он им...

Вышел владыка Иона из-под навеса и, положив руку на плечо княжича, продолжал:

– Претерпи, отроче мой, и Господь нам поможет. Имей разумение о том, что постигать надо умом волю Божию. И среди наитяжких бедствий и горестей разумом и крепостию духа зло преодолеть можно и пути ко спасению обрести. Гневливость же токмо разум темнит.

Сразу тепло и спокойно стало Ивану от слов владыки, вера в душе затеплилась. Так всегда дома у него бывало от бесед с бабкой. Улыбнулся он по-детски доверчиво и, посмотрев прямо в светлые глаза владыки, тихо сказал:

– Отче, помоги татуньке...

Гул колоколов от обители покатился по всему полю, а из монастырских ворот вышли священники и монахи с хоругвями, иконами и крестами, а сзади них ехали сани для Ионы, нареченного митрополита Московского и всея Руси.

Ризы, кресты и оклады икон сверкали на солнце, пение же церковное, сливаясь со звоном, шло к самому сердцу княжича Ивана. Все снимали шапки и закрестились, а конники спешили. Владыка Иона вышел с княжичами на берег. Попы и диаконы окружили их и, держа в руках своих древнюю икону Корсунской Божьей Матери, запели благодарственный молебен о благополучном прибытии.

Путники, не заезжая в Суздаль, остановились всем поездом на один день ради отдыха в Спасо-Евфимиевом монастыре. Отслушав литургию, владыка Иона, княжичи и Ряполовские с Миколой Степановичем обедали у игумена в келарских покоях для почетных гостей. После же обеда владыка захотел отдохнуть, а княжичам разрешил с дядьками их ходить свободно по всей обители и по всем стенам пройти монастырским, осмотреть башни-стрельни и мосты подъемные.

Стены у монастыря широкие – телега проедет свободно вдоль бойниц и стражу не зацепит. Это не удивило княжичей – московские стены куда шире! Любопытнее им было на поле посмотреть, что тянется возле речки Каменки. Остановились они над главными воротами у бойниц самой большой стрельни.

– Видать ли отсюда, Васюк, – обратился Иван к своему дядьке, – где отец бился с татарами?

Васюк стал приглядываться и, говоря неуверенно, показывал всей рукой:

– Может, вон тамо, ближе к Суждалю, а может, вот тут, к нам поближе. Не было меня тут, как же я тебе могу истину поведать?

– Тут вот, тут, к нам ближе, – быстро заговорил старый монах, выходя из соседней бойницы, – меж Нерлю и Каменкой... – Монах поклонился и, обратясь к Васюку, спросил: – Дети великого князя?

Васюк утвердительно кивнул, а монах снова поклонился княжичам и сказал:

– Здравствуйте, дети мои, да сохранит вас Господь. Не подходите ко мне под благословение, ибо не имею на то благодати. Лекарь аз в обители, инок Паисий, а был воем у деда вашего. Великого князя Василь Василича с издетства знаю, здесь же ему раны врачевал, когда в полоне у татар он был. Вас же, внуков Василь Димитрича, увидеть мне сладостно...

Старик ребром приложил ладонь к глазам от солнца и внимательно разглядывал княжичей.

– А ты видел, – спросил его Иван, – как бились они?

– Вот с сей самой башни видел, – оживляясь, заговорил отец Паисий. – Побегли вдруг поганы да бегут-то, порядок не руша. Наши же, словно куры в огороде, разбрелись во все стороны – кто за татарами гонится, кто убитых да раненых грабит, а кто ни туда, ни сюда, сам не знает, что деять... – Старик досадливо пожевал беззубым ртом и строго добавил: – Вижу, дело недоброе! Понимаю хитрость неверных, хочу наших упредить, а бежать не могу – стар. Ищу кликнуть кого, дабы великому князю весть скорей дать, и вижу – поздно уж! Татарские конники кругом заворачивают и сбоку на наших ударили. Нарочито наших заманили, поганые! Смяли пеших, а конников окружили со всех сторон. Закрыв аз глаза, молитвы Господу о спасении читаю, гляжу опять, а уж князь великой вместе со своими тремя конниками окружен. Рубятся крепко, а потом двое с коней наземь сбиты и токмо один ускакал прочь с рукой отсеченной.

– Федорец Клин, – вставил Васюк. – Правду он баил, когда ответ держал перед старой княгиней...

Иван и Юрий жадно слушали Паисия и ждали, что дальше он скажет о битве. Но старик опять медленно пожевал губами и строго проговорил:

– За грехи наказал нас тогда Господь. Из-за усобиц все. Ладу нет у князей, а зависть и зло на великого князя. Из удельных же да из бояр тоже всяк токмо своей пользы ищет, а о сиротах заботы нет. Мутят князи да бояре, – всяк своего князя хочет, дабы от своего-то прибыток ему был. Токмо сироты одни за великого князя, ибо не хотят разоренья и полона...

– Потому, – вмешался Илейка, – что сиротам все одно, от кого идет разоренье: от тара ли, от удельных ли. Потому, пока сильна Москва, и сиротам покой и жир!

– Истинно, истинно, – отозвался Паисий, – а удельные-то зорят хуже татар. Помните, княжичи: дед ваш, Василь Димитрич, крепко в кулаке удельных держал! Грозный был государь. А отец-то ваш вон в какую беду попал...

Отец Паисий что-то еще хотел добавить, но Васюк знаком остановил его и, отведя в сторону, сказал на ухо:

– Про ослепление-то не ведают княжичи. Не велено им сказывать.

Паисий, не подходя уже больше к княжичам, поклонился им издали и сказал:

– Помогите вам Господь, дети мои, сохрани и помилуй вас.

Из Суздаля нареченный митрополит Иона и княжичи в монастырских колымагах поехали, а князья Ряполовские на телегах. Ладьи же в Рязань назад отослали, ибо оттуда, из своей епископии, владыка их взял, отъезжая к Мурому. Хотя весна была ранняя и соловьи запели, но земля в лесах не проявляла – вязли кони и колеса на лесных дорогах. Двигался владычный поезд медленно – пешие и те его обогнать могли. От обеда до темна всего-навсего двадцать пять верст проехали и в селе Иванове ночь ночевали. С рассветом потом выехав, к обедне лишь прибыли в Юрьев Полской, а из Юрьева до Переяславля-Залесского, верст шестьдесят, опять с ночевкой в деревне Выселки, ехали и мая шестого в полдень у самого уж града были.

Увидали снова княжичи золотые маковки Спасо-Преображенского монастыря в гуще лесной и ясную гладь озера Клещина. На полях же, к посадам ближе, женки и девки, горох сея, пели, крестясь, слова заклинания:

Сею, сею бел горох,
Уродись крупен и бел,
Сам-тридесят!
Старым бабам на потеху,
Молодым ребятам на веселие!

День стоял солнечный, и лазурь небесная вся сияла хрустальным синим блеском, чистая вся, без единого облачка. Темнея точками в сини небесной, трепетали жаворонки, звенели, как рассыпанные бубенчики, подымались ввысь и снова к земле спускались. Светло, тепло и радостно кругом, а Ивана охватила тоска. Вспомнил он, как жили они тут с матушкой и бабушкой, ожидая отца из полона. Почудился ему ясно так осенний сад с облетевшими листьями и багровыми кистями рябины, словно наяву привиделся бурьян за конюшнями, где он с Данилкой щеглов и чижей ловил. Вспомнились клетки, что висели в саду с их крылатыми пленниками. Дарьюшка...

Опять гулко, как у Евфимиева монастыря, зазвонили колокола, но теперь встречал владыку Спасо-Преображенский монастырь у самого града Переяславля-Залесского. Переглянулись княжичи украдкой, меняясь в лице. Прижался Юрий к брату и прошептал чуть слышно:

– Шемяки боюсь...

Иван не ответил и тревожно взглянул в глаза владыки Иона. У того дрогнули губы, но ничего не сказал он, а только перекрестил обоих княжичей и сам перекрестился молча.

Встречали Иону и княжичей многолюдно и торжественно, в облачениях праздничных и с хоругвями, ибо извещены были гонцами за час до приезда колымаг. Однако видел Иван, что нерадостны были лица у клира церковного, да и сам Иона был сумрачен. Друзья тут все были, знакомые – многих из них узнали княжичи, ибо монастырские бывали много раз в хоромах великокняжеских, а игумен не раз у них в крестовой и утреню и молебны служил.

С горестью и тревогой все на княжичей смотрят, и нехорошо от этого на сердце у Ивана, да и Юрий чего-то боится и жметя все к брату. Едва вошли гости приезжие в келарские палаты, как туда гонцы прибежали от князя Димитрия, а с ним на коне приехал и любивший

мец Шемякин, дьяк его Федор Александрович Дубенский, и челом бил владыке и княжичам с просьбой на обед пожаловать к его государю.

– Тобя, владыко, и княжичей, узнав о благополучном прибытии вашем, молит к столу своему государь мой, великий князь Дмитрий Юрьевич, – ласково и почтительно сказал дьяк, подходя к благословению святителя.

Острым взглядом владыка Иона пронзил его, и смутился дьяк и поклонился низко.

– Тобе все ведомо, – сказал он строго, – и если есть вокруг князя Дмитрия его доброхоты и умные советники, то пусть разумеют, что дозволено Богом и что не дозволено. Есть суд Божий за гробом, но ранее того есть рука казнящего за зло и на земле...

Ряполовские стояли в глубине хором и, не подходя близко, глядели исподлбья на дьяка, но Дубенский не знал их в лицо и не полагал, что приехать сюда, в Переяславль, посмеют. Владыка же, по сговору с ними, слова о них не молвил и, собравшись, вышел с княжичами на монастырский двор, где ждала их колымага князя Дмитрия Юрьевича.

Дорогой, видя смятение отроков, владыка сказал им:

– Дети мои, не бойтесь, ибо вы на епитрахили моей. Верьте, что обещал пред Богом, то и сотворю. Соединю вас с родителями, а там уж воля Божия.

– Увидим мы тату и матушку? – твердо и требовательно спросил Иван, не спуская глаз с владыки...

– Как ни решит князь Дмитрий, – ответил вполголоса Иона, склонясь к детям, – а все же у родителей своих вы будете. Не бойтесь, уповайте на Бога. Вот мы уже в хоромах Шемякиных, будьте добронравны и вежливы, как княжичам надлежит. Не гневите князя Дмитрия, ибо, паки реку, гнев княжой – горшее зло для родителей ваших и для вас всех...

Колымага остановилась у хором, а князь Дмитрий Шемяка, сойдя с красного крыльца, сам помог выйти владыке и с торжествующей, радостной улыбкой оглянулся на княжичей, которым Илейка и Васюк помогали сойти на землю с высокого кузова колымаги.

«Как волк на агнцев облизывается, – подумал владыка Иона, заметив взгляд Шемяки. – Помогите мне, Господи».

– Не чаял, что дождусь тобя, – весело заговорил Шемяка, приняв благословение, и, обернувшись к княжичам, добавил: – Радуюсь приезду вашему, племянники милые, отроки безгрешные, в делах наших и распрах ничем вы не повинные!..

Он обнял и облобызал детей с притворной нежностью, – рад был весьма, что они теперь в руках его. Шемяка был добр в душе к княжичам, как птицелов к пичужкам, которые уже трепещут в сетях у него.

Видя эти ласки врага злого к детям великого князя, Илейка и Васюк стояли опустив головы и мрачно переглядывались. Когда же все стали подыматься на красное крыльцо, Илейка тихо сказал Васюку:

– Тут надо ухо остро доржать, во все глаза глядеть.

– Истинно, – ответил Васюк, – с медведем дружись, а за топор доржись.

Они вошли за княжичами в трапезную и у дверей в уголке стали, глаз не спуская с Ивана и Юрия. Не менее зорко следил владыка Иона за Шемякой и главным советником его, боярином Никитой Добрынским, стараясь угадать их скрытые мысли.

Сев за стол после благословения владыки, стали все есть горячие шти, и вдруг Иван, следя за взглядом Ионы, увидел направо от Шемяки знакомое лицо, где-то им виденное, почему-то страшное и неприятное. Это был боярин Никита, старавшийся не встречаться глазами с владыкой. Отвертываясь от него, он неожиданно и дерзко поглядел на Ивана. Сердце княжича задрожало от страха и гнева. Он узнал в этом боярине того самого, что прискакал на коне в Сергиеву обитель с дружиной Шемяки. Это он тащил из храма его отца!

Побледнев, Иван взглянул на владыку Иону и понял, что тот все заметил, как, бывало, бабка все за столом замечала, и улыбается ему спокойно и ласково. Ободрило это и успокоило

мальчика, но пальцы его, сжимавшие оловянную ложку, долго еще дрожали, а гнев и ненависть кипели в сердце.

Князья Рязановские после обеда у келаря отдохнуть захотели. Постелили им в двух келейках: в одной – старшему, Ивану Ивановичу, а в другой – двум младшим: Семену и Димитрию. Разошлись и монахи по своим кельям, и заснул весь монастырь по чину иноческому. Так уж искони на Руси повелось. Никто чина сего не нарушает, кроме людей, когда заботы их мучают: боли телесные или душевные. Не спали в обители только князья Рязановские, и вскорости перешли меньшие братья в келейку Ивана Ивановича думу думать у постели его.

– Кто знает, – заговорил Димитрий, – что в сей часец у владыки с Шемякой дается? Может, владыка и так рассудил: «И митрополитом буду, а и великого князя с семейством навек в дальнем уделе схороню...» Может, и князь-то можайский Иван Андреич право разумеет – синицу поймал, а журавля в небе и не ищет...

– Лопата твой можайский, – гневно перебил его старший брат, – помело поганое!.. Хитер он, да мелок. Жадность великая у него. Он, словно окунь голодный, и голую уду хватает.

– Зато Иона всех нас умней, – заметил осторожно Семен, – у него все обсуждено, а как, то нам неведомо.

Князь Иван Иванович вскочил с лавки и заходил по келье, не глядя на братьев. Заронили они ему в душу сомнения.

– Нет, нет, – начал он, вдруг остановившись посередине кельи, – не может того быть! Владыка Иона разумней всех нас. Все, что говорил он, – истина. Ум у него велик и прямота велика. Обман ежели и будет, то токмо от Шемяки, ибо и смел он и дерзок, а силы духовной и разума мало у него. Все же и Шемяка не посмеет идти против отцов духовных и против народа...

– А ежели посмеет, не послушает владыки? – снова заметил Семен Рязановский.

– Будем биться! – крикнул Иван Иванович. – Бог нам поможет.

– А по мне, – добавил Димитрий, – нечего нам в кости играть, вот и владыка митрополию от Шемяки берет. Что ж мы-то одни против рожна прать будем, как медведи. Токмо брюхо себе больше распорем. Она, синица-то, в руках.

– Не будет так! – вспыхнул Иван Иванович, перебивая младшего брата. – Не пойду яз за ветром. Москва за Василья. Москва и Юрья Димитрича выгнала, а сына его и подавно выбьет вон. То вы уразумеете: князь Василий на Москве в дому у себя, а Шемяке всякого князя покупать надобно, как купил он можайского. Опять будет государство на уделы дробить, а гости-то богатые, особливо же простые купцы, да всякие люди торговые, и умельцы рукоделия всякого, наипаче не примут того. «Дешевле нам, – говорил мне Шубин во граде Муромском, – прибыльней один сильный московский князь, чем сотня нищих князьков... Всякий ведь князек-то с тобя сколупнуть захочет, что сможет...» – Князь Иван замолчал, продолжая ходить из угла в угол по келье. Успокоясь, он твердо добавил: – Как отцы духовные мыслят, мы из уст самого митрополита нареченного ведаем...

Братья молчали, потом опять осторожно заговорил Семен, своего мнения опять не высказывая:

– Истинно все, Иване, что ты баишь, токмо трудно слепому Василью с Шемякой бороться. Истинно и то, что Шемяка купит московский стол. Отрезать начнет каждому князю куски от московских земель. Разорит он Москву, на ветер, на дым все труды князей московских пустит. А потом что? А потом князь тверской Борис все в свои руки захватит и ярлык в Золотой Орде на московский стол купит. Он и теперь уже «великий князь тверской»...

Наступило молчанье, но младший Димитрий не вытерпел.

– Тогда как? – крикнул он. – К Борису лучше ныне ж отъехать, чем Шемяке потом челом бить!

– Молчи, лопата! – рассердился снова князь Иван. – Нужны мы тверскому! А нам какая честь и какая сладость на конце стола сидеть у чужого князя, пить-есть опивки да объедки? Нет уж, братья мои, никому не служить нам, опричь московских князей, будет то Василий али дети его. Победим мы Шемяку, наипервыми на Москве будем у своего князя. Так и владыка мыслит. Шемяке же нет у меня веры, не обойти ему нас своей лестью...

– Иване, – перебил его Семен, – не забудь о полку нашем. Не побудить ли Микулу Степаныча?

– Верно, верно! – встрепнулся Иван. – Забыли мы про Шемякины когти.

Микула Степаныч баит, что мало здесь воев у Шемяки, но все же, мыслю яз, отъехать нам вместе с владыкой, а то и поране его. За князя великого рать подымать надобно... Ну, иди побуди Микулу Степаныча.

После утрени в день Николы Весеннего выехал владыка Иона с княжичами в колымагах к Ростову Великому, откуда лежал им путь к Волге, в древний Углич-град.

Ряполовские с воеводой своим и конниками провожали их до самого Ростова, где владыка решил отдохнуть несколько дней и дать отдых княжичам.

Но главное, нужно было ему встретиться со всем духовенством, дабы из Ростова, из древнего места святительского, разослать через верных людей вести своим епископам, игуменам и архимандритам.

Тут же, на обратном пути из Углича в Москву, в митрополию свою, хотел владыка уж подсчет иметь сил духовных на Севере, где среди бояр и городов, особливо Вятки и Углича, много было доброхотов Шемякиных, где удельные князья и города вольные не любили Москвы.

Ряполовские же, не веря больше Шемяке, о Литве думали, где князь Василий Боровский, брат княгини великой Марии Ярославны, уже собирал полки. У Ростова Микула Степанович наметил повернуть к Юрьеву Полскому, который ближе к вотчине Ряполовских, а там снарядить полки для рати – и конные и пешие – из своих людей и из пришлых, кто за князя великого биться придет. До посадов еще не доехав, вдали от стен городских прощались князья Ряполовские с княжичами и владыкой перед всеми своими конниками. Рядом стоял Иван с братом Юрием и видел, как конники утирали иногда рукавом слезы, слушая слово владыки Ионы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.